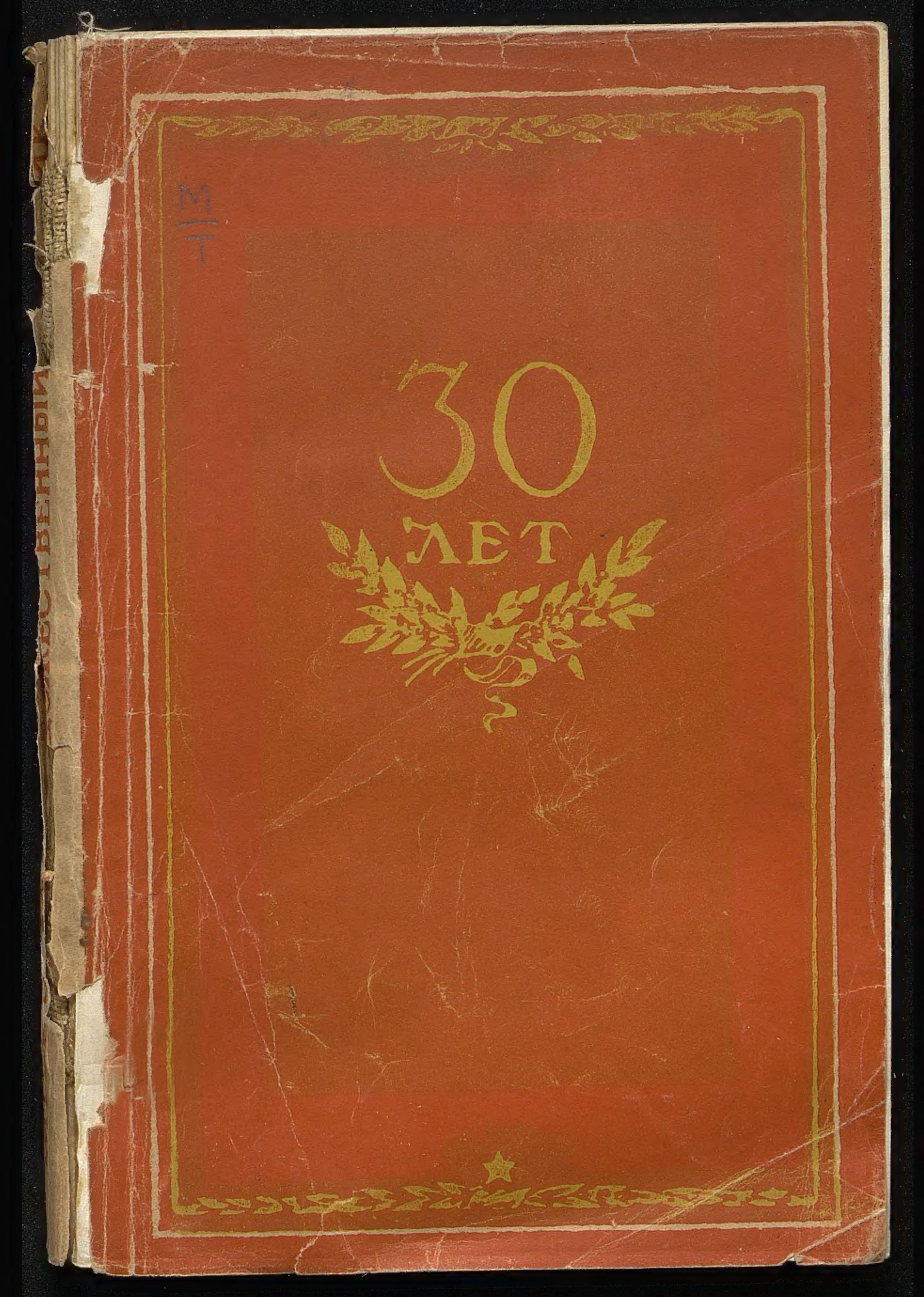

30
ЛЕТ

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

30 ЛЕТ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК

★

ОГИЗ ★ ИВГИЗ ★ 1947


ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2009




Сквозь грозы сияло нам
солнце свободы,
И Ленин великий
нам путь озарил.



Г. Горбунов

О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ

Великая Октябрьская социалистическая революция, принесшая освобождение угнетенным народам России от векового насилия эксплоататоров, от социальной лжи и несправедливости, раскрепостила творческую энергию масс, положив грандиозное начало невидимому в истории расцвету подлинно народной культуры.

Революция создала все условия для того, чтобы «втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами» (Ленин).

Каждая национальная республика, край и область сейчас с гордостью могут отметить свой вклад, внесенный ими в социалистическую культуру. Современная советская литература, увенчанная сияющим ореолом Сталинских премий, рождалась и росла в труде многих тысяч литераторов, неразрывно связанных с народом и получивших возможность проявить свою творческую энергию, благодаря великим завоеваниям Октября и повседневным заботам партии Ленина—Сталина. С этой точки зрения город Иваново является красноречивым примером широкого участия писателей в создании самой передовой литературы мира, литературы социалистического государства.

I

В старом Иваново-Вознесенске, прославленном революционной борьбой ткачей, до 1917 г. почти не было печати. Издавалась махровая черносотенная газетенка «Ивановский листок», которую рабочие не читали. Голос рабочего поэта или прозаика можно было услышать лишь в конспиративных квартирах да рабочих каморках. Каким гонениям и преследованиям подвергались певцы свободной мысли со стороны царского правительства, сколько погибло их в тюрьмах, ссылках и казематах — об этом, к сожалению, еще далеко не все рассказано.

Ивановский поэт, рабочий-революционер Иван Матвеевич Семенчиков (1877—1911), по свидетельству многих ивановцев-ткачей, часто писал стихотворения, и за это его особенно ненавидела полиция. За революционные дела и стихи И. М. Семенчикову перебили пальцы рук, упрятали в Шлиссельбургскую крепость, а позднее сослали на каторгу. Многое из того, что написал И. М. Семенчиков, к сожалению, безвозвратно затеряно.

В одном из стихотворений, дошедших до нас, И. М. Семенчиков так определял свое призвание в жизни:

Я вам песни спою не небесные,
Сказки вам расскажу не чудесные,
Не скажу я привет сердцу праздному,
Не скажу похвалы безобразному.
Нет, я жизни хочу для себя и других,
Сколько силы найду, послужу я для них.
Буду петь до конца о великом труде,
Буду рваться всегда, помогать их нужде.

Жизнь И. М. Семенчикова оборвалась на каторге, в Сибири.

На страницы легальной печати лишь изредка попадали стихи рабочих поэтов.

Проклятая пора многовековой звериной эксплоатации и чудовищного насилия над человеческим духом канула в безвозвратное прошлое.

Город Иваново, ставший за годы советской власти крупнейшим центром текстильной промышленности нашей страны, одновременно рос и как культурный центр,

с судьбой которого связано немало творческих достижений писателей, внесших свой вклад в социалистическую литературу.

2

С первых дней Октября в Иванове стала издаваться газета «Рабочий город», вскоре переименованная в «Рабочий край». Пишущие люди, главным образом стихотворцы, группируются вокруг газеты, они получают, наконец, возможность печататься.

Вскоре стали появляться и отдельные сборники стихотворений («Крылья свободы» — 1919 г., «Красная улица» — 1920 г., «Начало» — 1921 г.). В это время особенную популярность среди жителей текстильного города приобретают Дмитрий Фурманов, Ефим Вихрев, Серафим Огурцов, Дмитрий Семеновский, Михаил Артамонов, Иван Жижин, Александр Благов и др.

Плодотворной деятельностью ивановцев живо интересуется Алексей Максимович Горький. Он не только ведет переписку с ивановскими писателями, но и находит возможным рекомендовать их творчество Владимиру Ильичу Ленину. И вот гений революции, в тяжелый 1921 г., несмотря на бесконечное количество дел государственной важности, проявляет интерес к ивановским писателям, адресуя своему секретарю записку следующего содержания:

«Прошу (комплект) достать «Рабочий край» в Ив. Вознесенске. Кружок настоящих пролет. поэтов. Хвалит Горький: Жижин, Артамонов, Семеновский. 28/I—1921 г.»

Этой маленькой запиской Владимира Ильича вправе гордиться не только ивановцы, ибо в этом документе, написанном рукою В. И. Ленина, красноречиво выразилась забота партии о развитии литературы огромной советской страны.

Большое внимание оказывал ивановцам Алексей Максимович Горький. Будучи ближайшим помощником партии в строительстве социалистической литературы, являясь проникновенным, чутким учителем больших и малых литераторов, он находил время следить за развитием литературы в городе ткачей, отвечая и отзываясь на письма и произведения ивановцев. Чаще всего связь А. М. Горького с ивановскими писателями осуществлялась через переписку с поэтом Д. Семенов-

ским, и уже одна эта переписка представляет собой материал исключительно интересный и важный, дополняющий богатейший арсенал литературно-эстетических высказываний великого писателя и учителя нашей литературы.

А. М. Горький, обративший внимание на одаренность Д. Семеновского еще до Октябрьской революции, не переставал наблюдать за ним и после Октября, давая ему много ценных советов. Алексей Максимович учил Д. Семеновского избегать подражания символистам, писать проще и яснее, заботиться об идейном содержании поэзии. Молодому Д. Семеновскому, одному из многих одиночек, нетрудно было сбиться с пути в эпоху безвременья, когда в литературе появилось немало школ и течений внешне цветистых, но пустых и идейно вредных. Такими течениями, главным образом, явились символизм и акмеизм, которым тов. Жданов в своем докладе дал следующую исчерпывающую характеристику: «Из истории русской литературы мы знаем, что не раз и не два реакционные литературные течения, к которым относились и символисты и акмеисты, пытались объявлять походы против революционно-демократических традиций русской литературы, против ее передовых представителей; пытались лишить литературу ее высокого, идейного и общественного значения, низвести ее в болото безидейности и пошлости».

Отвечая на стихи Д. Семеновского весной 1913 года, Алексей Максимович писал: «Вы, видимо, не мало читали Бальмонта и современников, это сказалось излишней цветистостью ваших стихов, в чем гораздо больше молодого форса и задора, чем вкуса и музыки. Как бы мы ни метались, а во-едину от суббот, — и постоянно молим: попроще, по-яснее. Детские болезни, разумеется, обязательны в ваших условиях, но можно избежать скарлатины подражания, хотя бы и невольного, — модернизму, не столь ценному у нас, как об этом принято думать».

Эти слова учителя Д. Семеновский не раз вспоминал на литературных собраниях при редакции газеты «Рабочий край», когда дело касалось разбора стихотворений какого-либо автора, приносившего идейное содержание стихов в угоду словесной мишуре. Особенно часто Д. Семеновский получал письма от А. М. Горького пос-

ле Великой Октябрьской революции и все они становились достоянием растущего круга литераторов города текстильщиков. Письма Алексея Максимовича шли сюда со штампами «Сорренто», «Москва», шли в адрес Д. Семеновского, потом Е. Вихрева, Н. Колоколова, М. Шошина, М. Маркова.

А. М. Горький просит сообщить ему, что нового в среде ивановцев, просматривает и читает газету «Рабочий край», выступает в печати с оценкой произведений ивановских писателей. Так, в предисловии к книге стихов Д. Семеновского «Земля в цветах», изданной в 1930 г. издательством «Недра», Алексей Максимович находит нужным упомянуть о талантливой работе автора, пишущего острые стихотворные фельетоны в газете.

«Фельетоны Семеновского в «Рабочем крае», — пишет Горький, — беспощадно бьют все то, что нужно бить словами правды, и всех, кого следует бить».

Заканчивая характеристику поэзии Д. Семеновского, Алексей Максимович называет его «настоящим поэтом».

Каждое новое письмо А. М. Горького или его публичное выступление об ивановцах становились крупным событием в жизни ивановских литераторов, ибо в лице Алексея Максимовича они видели не только гениального художника слова, но и своего прямого учителя.

3

Среди ряда имен ивановских писателей, известных своими произведениями широким массам народа, пальма первенства принадлежит Дмитрию Фурманову. Ивановцы с чувством гордости могут сказать, что из их среды вышел такой одаренный писатель — коммунист, автор бессмертного исторического романа «Чапаев», классик советской литературы. Годы детства и юности Дмитрия Фурманова прошли, главным образом, в старом Иваново-Вознесенске, откуда неслась по всей России слава грозных революционных стачек и баррикад ткачей.

С первых дней революции в лице Дмитрия Фурманова формируется журналист-общественник, писатель-боец. В Иванове в «Рабочем крае» он впервые публикует свои литературные произведения, неутомимо работая в губернском исполнительном комитете Совета рабочих депутатов.

Огромное и решающее идейно-политическое влияние оказал на Д. Фурманова Михаил Васильевич Фрунзе. М. В. Фрунзе помог ему преодолеть серьезные политические колебания, распознать предательскую сущность буржуазных партий и, видя в нем честного интеллигента, способного отдать всю свою жизнь народу, рекомендовал его в ряды партии большевиков.

В Иванове Д. Фурманов возглавил тысячный отряд текстильщиков-коммунистов, чтобы вслед за М. В. Фрунзе вести их на борьбу против международной интервенции и внутренней контрреволюции. Будучи на фронте, комиссаром Чапаевской дивизии, в далеком Семиречьи или в 9-й Кубанской армии, Дмитрий Фурманов в перерывах между сражениями делает записи боевых действий и посылает в ивановскую газету «Рабочий край». В тяжелые годы разрухи и гражданской войны письма и очерки, присылаемые Фурмановым в газету, вселяли еще большую бодрость и уверенность в текстильщиков, уверенность в полном разгроме врагов и свое счастливое будущее. И если в то время выступления Дмитрия Фурманова выполняли огромную агитационно-пропагандистскую функцию, то вместе с тем они были подготовительным материалом к созданию таких всемирно известных произведений писателя, как «Чапаев» и «Мятеж». В самом деле, очерки «Уфимский бой», «Освобожденный Уральск», «Уфа и Уральск», «Пилюгинский бой», напечатанные в «Рабочем крае» в 1919 г., были впоследствии развернуты им в главы романа «Чапаев».

Общеизвестно, как велико значение этого романа, раскрывшего образ легендарного народного полководца и суровую героику гражданских боев. Однако эта книга — не только о Чапаеве и гражданской войне, но и об ивановских коммунистах — ткачах, ставших, по меткому выражению М. В. Фрунзе, «цементом дивизии» Чапаева.

Дмитрий Фурманов, получивший политическое и литературное крещение в Иванове, отдал должную дань воспитавшим его ткачам, написав много волнующих страниц об ивановских ткачах в своем лучшем романе. Дмитрий Фурманов умер в расцвете творческих сил. «Он много видел, — писал о нем А. М. Горький, — хорошо чувствовал. У него был живой ум».

Другим крупным писателем-коммунистом, вышедшим из среды ивановцев, был Ефим Вихрев (1901—1935 гг.).

Ефим Вихрев стал печататься с 1917 г. в шуйской газете. В то время он писал, главным образом, стихи. Как и Дмитрий Фурманов, он вместе с шуйскими и ивановскими ткачами ушел на фронт гражданской войны. В 1922 г., вернувшись с фронта, Ефим Вихрев несколько лет сотрудничал в «Рабочем крае» и скоро стал печататься в столичных журналах «Красная новь» и «Новый мир».

Изучая творчество народных художников села Палеха, писатель издает в 1930 г. книгу «Палех» и несколько позднее — интереснейший литературный труд «Палешане». Эти книги писателя приветствовал А. М. Горький как в личных беседах с ним, так и в письмах.

До сего дня Ефим Вихрев остается непревзойденным певцом палехского искусства и его знаменитых мастеров, известных всему миру, среди которых есть заслуженные и народные художники и лауреат Сталинской премии. Писатель-коммунист Ефим Вихрев, так горячо любивший село-академию, умер в расцвете творческих сил, не успев завершить многие замыслы.

Интересной личностью среди ивановских литераторов был поэт Серафим Огурцов.

Несмотря на тяжелую болезнь, приковавшую поэта на многие годы к постели и преждевременно сведшую его в могилу, Серафим Огурцов принадлежал к людям исключительно жизнерадостным, как в своем общении с товарищами, так и в стихах. Его произведения обычно отображали счастливые переживания и чувства человека, живущего на советской земле.

Внесли свой вклад в советскую поэзию Д. Семеновский и А. Благов.

Д. Семеновский (родился в 1894 г.) испытал на себе влияние символистов, но благодаря Горькому сумел во многом преодолеть это влияние и с первых дней революции вошел в круг пролетарских поэтов. Его книги: «Земля в цветах» (1930 г.), поэма «Сад» (1934 г.), перевод «Слово о полку Игореве» (1937 г.), «А. М. Горький — Письма и встречи» (1939 г.), «Избранное» (1946 г.) и другие сборники стихотворений и очерковые зарисов-

ки находили самые положительные отзывы нашей критики и наших читателей.

Иным путем развивалась поэзия А. Благова (родился в 1883 г.). Не имея возможности часто выступать в печати до Великой Октябрьской революции, он с первых дней ее публикует стихи и поэмы в газетах, альманахах, сборниках. Его перу принадлежит 10 сборников стихотворений и среди них особенный интерес представляют «Ступени» (1932 г., издательство «Федерация», «Страна ткача» (1936 г., ГИХЛ), «Избранные стихи» (1946 г., издательство «Советский писатель»).

Выдающийся советский поэт, покойный Эдуард Багрицкий в своем предисловии к книге А. Благова «Ступени» писал: «Сборник «Ступени», показывающий ступени роста одного из лучших наших рабочих поэтов, несомненно может быть рекомендован для изучения всем начинающим пролетарским поэтам». Эта оценка и достойная и бесспорная!

Отталкиваясь от поэзии Нечаева и Шкулева, А. Благов в идейно-политическом отношении отличался от них, прежде всего, тем, что его стихи имели более ярко выраженную классовую окраску и политическую остроту. Этому, конечно, способствовали революционные события города ткачей, где жил и работал поэт. Будучи сам в течение долгих десятилетий рабочим на капиталистических фабриках, испытав на себе жестокий гнет эксплоатации, являясь не только свидетелем, но и непосредственным участником ожесточенной борьбы текстильщиков с фабрикантами, А. Благов слагал стихи, которые становились боевыми песнями революционных текстильщиков. Его поэзия в целом — это большая развернутая картина жизни, быта, чувств, чаяний и надежд ткачей, картина, волнующая глубоким лиризмом, художественной простотой и убедительной правдой.

Благов, несмотря на свои шестьдесят четыре года, продолжает откликаться на самые злободневные темы современности. Вот почему так искренне звучат его слова из недавнего стихотворения «9 февраля».

За всех людей, в работе стойких,
Себя прославивших трудом.
За новый план великой стройки
Мы полный голос отдаем.
За силу нашу боевую,

Что нас хранит от всяких бед, —
За нашу партию родную —
Организатора побед.

С первых дней революции у ивановских литераторов сложилась хорошая традиция живого и систематического общения между собой. Этому помогало и то обстоятельство, что с приходом Октября ивановцы получили постоянную печатную трибуну для выступлений. Достаточно указать хотя бы на выход таких сборников, как «Взмах», «Живописное слово», «Венок» (стихи о В. И. Ленине), «Молодость», «Мы победим», «Наступление», «Порыв», «Рейд», «За Родину», таких журналов, как «Пламя», «Звено», выходивших в течение ряда лет, таких альманахов, как «Атака» и «Ивановский альманах», издающийся и до сегодняшнего дня. К этому далеко неполному перечню литературно-художественных изданий надо прибавить еще значительное количество книг и сборников отдельных авторов, издаваемых не только ИвГИЗ'ом, но и центральными издательствами. Немалую роль также сыграло для ивановцев «Литературное приложение» к газете «Рабочий край» и сама газета, систематически отводившая место «Литературным страницам». В этих изданиях печаталось немало авторов (мы не ставим себе целью всех их перечислять и обо всех говорить, так как необходимости в этом нет), и когда окидываешь взором все то, что печаталось за тридцать лет советской власти, а вместе с тем мысленно представляешь дореволюционное Иваново, — то невольно изумляешься тому, как много сделала большевистская партия для развития нашей литературы во всех ее многочисленных звеньях.

В годы Сталинских пятилеток творчески проявили себя М. Дудин, А. Лебедев, В. Полторацкий, М. Шошин, В. Кудрин.

Виктору Полторацкому принадлежит шесть сборников стихотворений, повесть «Лето», ряд интересных рассказов. Работая, главным образом, в газетах, он воспитал в себе остроту взгляда, и его стихи и проза оставляют впечатление свежести и современности. Недавно он напечатал в журнале «Октябрь» очерк «Французское лето».

Имя М. Шошина — автора сборников рассказов «Большая семья», «Петряевский мельник» и ряда дру-

гих, было представлено почти во всех альманахах, газетах и журналах Ивановской области.

Ранние рассказы М. Шошина отметил А. М. Горький, поддерживая с ним переписку. В то время Алексей Максимович писал молодому автору следующее: «Вам доступно чувство доверия к людям, чувство доверия к жизни, — это чувство не часто встречается выраженным так просто, искренне». М. Шошин пишет многие годы и за это время он сумел овладеть мастерством небольшого рассказа. Но беда автора состоит в том, что он при характеристике людей не всегда идет от самой жизни. В ряде его рассказов, особенно в последние годы, сквозит литературная надуманность, которая приводит его к выводам, не соответствующим живой действительности. И все же у М. Шошина есть немало произведений, которые заставляют читателей питать к автору чувство доверия, как к художнику, способному еще написать ценные и достойные произведения.

В грозные годы Великой Отечественной войны подавляющее большинство писателей ивановцев ушло на фронт.

В. Полторацкий, В. Кудрин, А. Лебедев, М. Дудин, Д. Прокофьев, М. Бритов, В. Жуков, И. Дружинин, М. Марков и другие — все они опалены порохом сражений; все они отмечены правительственными наградами. В смертельных схватках с фашистскими разбойниками геройски сложили свои головы два молодых талантливых поэта: Владимир Кудрин и Алексей Лебедев.

Владимир Кудрин посылал в Иваново стихи, полные бодрости и уверенности в победе. Поэтическое наследство его невелико. Но сборник его стихов, изданный ИвГИЗ'ом в 1946 г., подкупает читателей искренностью переживаний бойца, не жалеющего пролить свою кровь во имя советского народа. Этот сборник талантливого, но еще не развернувшего свои возможности поэта, может быть по праву оценен словами самого поэта:

Бесследно я из жизни не уйду,
Я в чутком сердце отзвуки найду:
И песни те, что я сложил в бою,
Споют не раз в моем родном краю.

Погиб в жестоких схватках с фашистскими пиратами моряк Балтийского флота Алексей Лебедев. Его за-

мечательный сборник стихов «Лирика моря» рисует незабываемые образы морской стихии, музыку моря и главное — нравственную красоту и силу отважных советских моряков, похоронивших немало фашистской нечисти на дне морском.

Пришедшие с фронта писатели вновь получили возможность заниматься непосредственно литературным творчеством. Они возмужали, приобрели богатый жизненный опыт, и нет сомнения, что это найдет отражение в их творчестве.

Д. Прокофьев, написавший до войны повесть «Алексей Шкаров», закончил повесть «Высота», изображающую героические будни сталинградской битвы. Чаще стали печататься М. Дудин, В. Жуков, И. Дружинин и многие другие поэты, ушедшие на фронт со студенческой скамьи. Бесспорным успехом отмечено появление в свет книги М. Кочнева «Серебряная пряжа» (Сказы ивановских текстильщиков), вышедшей в издательстве «Советский писатель» и в ИвГИЗ'е. Эта книга нашла многочисленные одобрительные отзывы критиков. Отмечая порой некоторые недостатки «Серебряной пряжи», критики на страницах газет «Известия», «Труд», «Литературная газета», журналов «Октябрь» и «Огонек» оценили ее в целом, как талантливую и нужную книгу.

Среди молодых поэтов-ивановцев, вышедших со своими стихами на страницы столичных журналов, становится заметным имя М. Дудина. Его сборник стихотворений «Переправа», изданный Лениздатом в 1945 г. и представляющий стихи военных лет, дает право сделать заключение о несомненном росте талантливого поэта.

Поэту, прошедшему суровый путь борьбы на фронтах Великой Отечественной войны, очень многое ясно в жизни так же, как и ясны задачи советского писателя.

Хорошо звучат строки М. Дудина:

Художники! Из чугуна и стали,
Отбрасывая к черту хлам и лом,
Творите так, чтоб мертвые восстали
И, как живые, встали над врагом.

Но в целом успехи ивановских писателей, живущих и работающих сегодня, еще невелики. Далеко не все из них сделали необходимые выводы из важнейшего

постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и исторического доклада тов. Жданова. Эти документы уже определили новый подъем социалистической литературы и только их глубокое понимание явится для каждого писателя источником плодотворных творческих сил и дерзаний. Только тот, кто, не боясь черновой работы, будет повышать свой идейно-политический уровень, мастерство и культуру, кто, не боясь критики и самокритики, станет упорно трудиться, тот и завоюет право на любовь советских читателей.

«Советские писатели, — говорит тов. Жданов, — и все наши идеологические работники поставлены сейчас на передовую линию огня, ибо в условиях мирного развития не снижаются, а, наоборот, вырастают задачи идеологического фронта и в первую голову литературы...

Большевики высоко ценят литературу, отчетливо видят ее великую историческую миссию и роль в укреплении морального и политического единства народа, в сплочении и воспитании народа»

Оглядываясь на пройденный тридцатилетний путь, большие и малые литераторы должны сегодня решать одну задачу: создать еще более прекрасные произведения, достойные духовной красоты советских людей, создать «обилие духовной культуры» (Жданов).

Д. Фурманов

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Мы знаем, что 25 октября совершится переворот — именно 25-го, ни раньше, ни позже. Центральный бой будет в Питере и Москве — там решается почти все.

Там будет нужна наша помощь: мы должны им сказать, что сами готовы, что можем дать своих лучших солдат, что здесь, у себя, мы — победители.

Когда один, другой, десятый, сотый город скажет, что и он победил, что и он готов к помощи — только тогда победа. Деревня победит вослед... Мы это знаем и лихорадочно готовимся к роковым, решающим дням.

Рабочим за октябрь выдано по пять фунтов дрянной муки. Больше не дадут ничего, надежд на близкую получку нет, достать неоткуда, а покупать им не на что и негде. Положение грошевое.

Мы приходим на митинги, многотысячные митинги ткачей, которые собираются у себя по фабричным дворам.

Приходим, сами до тошноты голодные; говорить с ними о голоде.

— Рабочие! Дорогие товарищи!.. Видите сами — откуда мы добудем хлеба?.. Ближнюю неделю так и не ждите, не будет совсем... А там... там, может быть... твердо не заверяем, а надежда есть... Вы за октябрь получили только пять фунтов — это тяжело; но что же делать, коли хлеба нет и не видно: все картофельную шелуху жуем...

— И картофельной-то нет, — простонет из гущи со скорбью ткачиха, и ей глухо отзовется старая, строгая, мрачная соседка:

— Ах ты, господи, что же делать-то будешь...

— А вот што, — взвизгнет откуда-то женский крик, — вот што делать: у меня два дня не жрамши дети сидят!.. Ишь, словарь какой нашелся (это уж к нам), на что мне слова твои, ты хлеба дай, хлеба, а то мне — тьфу на тебя... Вот што...

Это мать. Она не говорит, а, прыгая на месте, пронзительно и часто причитает, неистово машет руками. Грани терпения перейдены, ее уговаривать невозможно.

Молчаливо стоят угрюмые, суровые ткачи: они понимают голодную мать — не мешают ей в криках, в протестах, в угрозах отвести взволнованную душу. И мы замолчим.

Так одна от другой, заражаясь скорбью, вспомнив плачущих голодных ребят, еще больней, еще острей почувствовав вдруг всю муку лишений, женщины-матери, измученные ткачихи взывают о помощи, бранят и проклинают — кого?.. Сами не знают кого, голосят, словно у дорогого гроба...

Спокойны, строги; серьезны стоят без движения ткачи...

Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и угроз... Море утихает, снова можно сказать: говоришь — и слушают тебя, и верят тебе, и знают, что помощь придет все равно откуда-то из Совета, от этих вот, стоящих на бочках, людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на них всю невыносимую боль страданий, голода, болезней и лишений на каждом шагу и каждый миг: свои, не обидятся.

Пробовали на эти митинги проникать мясники и в бурные минуты недовольства и угроз начинали сами кричать, только по-своему, по-мясницкому... Их узнавали, иной раз колотили, выбрасывали из рабочих дворов:

— Не лезь в чужое дело — здесь свои бранятся, сами и столкуются...

Над толпою проносятся слова:

— Мы опутаны изменой и предательством. Правительство бессильно: оно продолжает кровавую бойню, оно фабрики держит за фабрикантами, не дает крестьянам землю... Станем ли дальше терпеть? Сила в нас, мы всё можем сделать!

— И сделаем... Но лишь тогда, когда власть возьмем в свои руки!

— Верно, верно, — вырывается из сотен и тысяч грудей. — Вся власть Советам!.. Долой министров-капиталистов! Долой социалистов-изменников!

Забыли про голод, забыли про тяжелую нужду, — вот они стоят, рабочие, готовые на борьбу, самоотверженные, сознательные, неумолимые в своем решении...

— Подходят дни, — мчатся новые обжигающие слова, — последние дни. Решается наша судьба. Пролетарская Россия готовится к бою... Готовы ли вы, ткачи?

— Мы всегда готовы...

— Так знайте же, что в близком будущем нам придется постоять на посту!

Окончено собрание — зашумела, заговорила, заволновалась толпа, — потекла в разные стороны...

Рабочие были готовы встретить врага.

На железной дороге — в депо, по мастерским, у водокачки — шныряли какие-то шептуны, задерживали рабочих, уверяли их, что надо скоро остановить движение, потому остановить, что в Питере и в Москве захватчики хотят отнять народную власть... Им не надо, говорили, давать помощи, их надо оторвать от всех, оставить одних, там и добьют их молодцы юнкера и свободный народ...

Рабочие недоуменно смотрели на агитаторов, потом шли в железнодорожный комитет и докладывали об этом своим «вожакам». Хотели шептунов изловить, да пропали, — так и не узнали, откуда взялись, кто подослал...

Иваново-вознесенские железнодорожники по всему обширному узлу приносили немалую пользу в Октябрьские дни. Они всегда были с рабоче-солдатским Советом, имели в нем своих представителей, ничего не делали поперек его воли, обо всем договаривались во-время.

Выбиваясь из сил, чинили паровозы и вагоны; справляли маршрутные поезда, гнали их за хлебом... В самую горячку восстания они перевозили в Москву наши рабочие отряды помогать москвичам... Железнодорожники на своих предоктябрьских собраниях говорили то же, что ткачи, они были так же готовы к действию.

В городе стоял 199-й запасный полк. В нем 11-я, 12-я, 14-я роты, а обучена из них и готова одна лишь 11-я... Ну что ж: и одна рота при случае сделает немалое дело.

В казармах сыро, холодно, грязно...

— Солдаты! Товарищи! Вам, может быть, в близком будущем придется выступать... Подлое и гнилое правительство не хочет, да и не может отдать трудовому народу все, что принадлежит ему по праву...

— Давно бы так, — крикнул кто-то из серой массы...

— Долой предателей...

От стены к стене по каменному холодному корпусу метались грозные лозунги, ухали проклятья, торжественно и гордо вырывались и застывали над серошинельною массой святые клятвы итти на бой...

— Мы надеемся на ваше оружие, товарищи, оно, может быть, скоро понадобится — отстаивать Советскую власть...

— Да здравствуют Советы! — провозгласил кто-то в установившейся на миг тишине...

И масса неудержимо, в каком-то исступлении закричала:

— Ура!.. Ура!.. Ура!

— Да здравствуют Советы! — еще раз крикнул тот же голос.

И новая буря криков, восторгов, пламенных клятв...

Солдаты были с нами...

Так рабочих-ткачей, железнодорожников и солдат мы готовили накануне великих дней... Им скоро пришлось сражаться, только не здесь — в Москве, куда их отправляли на помощь.

С этой ли силой не победим? Кто же совладает с нею? У нас и сомнений нет, что победа будет за нами...

Все ближе подходят сроки...

Мы нервно ждем сигнала, ждем окончательных вестей — и они пришли.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов помещался в Полушинском доме, на Советской улице — лучшего места для тех времен не найти. Куда хотите —

всюду близко: до станции рукой подать, на фабрики тоже недалеко, вот они: Бурылинская, Полушинская, Дербеневская. Гандурина, Ивана Гарелина, Компания, Зубковская — до любой по шесть минут ходу. А это важно: там черпал Совет постоянную энергию, видел поддержку, там получал указания, узнавал желания — фабрики были опорными пунктами советского могущества в городе.

На пленумах Совета, всегда многолюдных, шумных и оригинальных, в течение шести-восьмичасовых заседаний, тянувшихся часто за полночь — каких-каких только ни разбирали мы тогда вопросов: не хватает хлопка на фабрике, угля, железа, тесу, красок — разбираем; где-нибудь кто-нибудь «хапнул»; кого-нибудь оскорбили, поколотили, выгнали, наказали самостийно — разбираем; объявился шпион, подмастерья загрубили с рабочими, где-то надумали организовать детский приют, анархисты захватили купеческий дом, крестьяне разгромили помещичью усадьбу — разбираем.

Не было вопроса, который прошел бы, минуя Совет: все стекалось сюда.

25-го на 6 часов вечера назначено было заседание Совета. Что за вопросы разбирались — не помню, только настроение в тот вечер было исключительное: спорили как-то особенно горячо, неистово, безо всякого соответствия значению вопросов, возбуждались быстро, реагировали на все болезненно; то и дело подавались ядовитые реплики; протестовавшие вскакивали на лавки, словно пузыри на воде: попрыгают-попрыгают и пропадут. А там другие... И можно было видеть, что все эти разбираемые вопросы — не главные, что на них только вымещают что-то кипящее внутри, вот то самое главное, о чем так хочется говорить, чего ждут не дождутся собравшиеся делегаты... Ведь сегодня 25-ое... Может быть, утром... может быть, в ночь придет... А может быть, и теперь, вот в эти самые минуты — гремят там орудия, дробят пулеметы, колоннами идут рабочие, и льется, льется, льется братская кровь... Эх, скорей бы узнать! Уж разом бы узнать — все станет легче...

Три раза пытался я связываться с Москвою телефоном — не выходило. Наконец, дали редакцию «Известий», и оттуда сообщили незабываемой силы слова:

«Временное правительство свергнуто!».

Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших, — встала мертвая тишина, — и четко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:

— Товарищи, Временное правительство свергнуто!..

Через мгновение зал стонал. Кричали кому что вздумается: кто проклятия, кто приветствия, жали руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и стены, зычно ревели: «Товарищи!.. товарищи!.. товарищи!..» Один горячий слесарь ухватил массивный стул и с размаху едва не метнул его в толпу... Уханье, выкрики, зачатки песен — все сгрудилось в густой бессвязный гул...

Кто-то выкрикнул: «Интернационал!»

И вдруг из хаоса родились, окрепли и помчались звуки священного гимна... Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлебывающимся порывом, с такою целомудренной глубокой верой в каждое слово:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Мы не только пели — мы видели перед собой наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики, нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие... Да, это поднялись рабочие рати.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...

Эти вести из Москвы — вот он и грянул великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть... Враг разбит — повержена «свора псов и палачей»...

А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей... Да, да, все, как в песне: наш путеводный гимн, самая дорогая, заветная песня, которую пели в подпольи рабы,

за которую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам — может ли ошибаться эта песня, вспоенная кровью мучеников?.. Пришли наши дни — их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..

Первые минуты бешеной радости прошли, но еще долго не могли улечься суетливость, нервность, торопливость. Вспомнилось, как два месяца тому назад, в «корниловские дни» — вот так же, как теперь, сидели мы на этих самых лавках и торопились решить: что делать?

Да — так что же делать, с чего начать? Мы ведь пока узнали лишь о том, что «Александра IV» нет, — так Керенского в шутку звали у нас солдаты. Но дальше? Идет ли сражение или окончилось, да и было ли оно вообще? Разговор по телефону оборвался в самом начале, его, быть может, оборвали сознательно, чтобы не дать нам знать про все, что совершилось. Мы еще не знали тогда о предательской, подлой роли, которую разыграли в великие дни наши почтово-телеграфщики, но предчувствие недоброго было уже у многих. Посыпались градом предложения — страстные, энергичные, но все больше какие-то фантастические, для дела совершенно негодные.

— Выслать немедленно в Москву на помощь наш полк, а во главу дать членов Советского Исполкома...

— Итти по фабрикам теперь же, сию минуту, оставив рассуждения; фабричными свистками собрать рабочих, объяснить положение, организовать на месте батальоны и слать их в Москву.

— Прекратить временно всю гражданскую работу, всем влиться в полк: одним — организаторами и политработниками, другим — стрелками...

Как это бывает всегда в подобных случаях — пока горячие головы фантазировали, другие за них думали, соображали, взвешивали обстоятельства, прикидывали разные возможности.

Было постановлено коротко:

Так как с Москвой и Питером подробности не ясны — будем их добиваться, а пока, вслепую, ничего не предпринимать. Это, во-первых. Во-вторых, заняться организацией обороны у себя и помнить, что Иваново-Вознесенск, хотя и неофициально, является признанным центром огромного промышленного района, кото-

рый надо обслужить, организовать, спаять, приготовить ко всем неожиданностям серьезного момента. В-третьих — создать особый боевой орган, которому вверить на самый горячий период все дело борьбы.

Орган создали, назвали «Революционным Штабом», выбрали нас пятерых, дали общую директиву:

«Держитесь крепко, смотрите зорко».

Штаб ушел для выработки срочных мер.

Советское заседание продолжалось, но, видимо, путалось, не клеилось, да и не могло в такие минуты оно продолжаться, — попросту делегатам не хотелось уходить.

Через короткое время мы воротились и сообщили, что ставим сейчас же по всему городу караулы и специальную охрану в нужные места: на железнодорожную станцию, на телеграф, на телефонную станцию — всюду посылаем рабочий контроль; принимаем меры к оповещению города и окрестностей о событиях; связываемся тесно со всем районом; берем кого надо под надзор, намечаем заложников и так далее и так далее, — словом, те самые меры, которые мы применяли постоянно в решающие минуты. Совет одобрил — работа закипела. Делегаты разошлись. Наутро весь город знал о происшедшем. На железной дороге создали свой специальный орган; в полку уже сам собой организовался из пяти человек Военно-Революционный Штаб.

Непрерывно работал телефон, — это нас тревожили каждую минуту Родники, Тейково, Шуя, Вичуга, Кинешма — все крупные рабочие центры: они не давали нам покоя, точно так же, как мы Москве; что мы узнавали, — сейчас же передавали дальше, — и в результате обширный район почти в одно время узнавал самые свежие новости... На телефонах буквально висели, устанавливались очереди, каждому отдельному рабочему центру назначали свои часы.

Наши рабочие восторженно встретили весть о перевороте: они собирались огромными массами по фабрикам, слушали советских депутатов, жадно ловили новости, присылали за ними своих посланцев, то и дело с песнями, с флагами кружили около Совета.

Железнодорожники посылали свои делегации с клятвами дружно работать, с заявлением о готовности умереть за Советскую власть.

Полк в боевом вооружении, блестя щетиною штыков, уже не раз демонстрировал перед нашими окнами и громко заявлял, что по первому зову расстреляет любую толпу, которая попытается с недобрыми мыслями тронуть наш Совет.

Первые ночи не спали сплошь. Из здания Совета почти не выходили: разве только на час—другой съездишь по вызову куда-нибудь на фабрику.

Многие среди бела дня, не выдержав усталости, бросались на голые просторные столы и так засыпали под общий гвалт, под визг и хлопанье дверей, телефонные звонки, хрипы автомобилей, трескотню мотоциклеток.

Здание Совета представляло собою настоящий вооруженный лагерь: кругом рабочие с винтовками, на окнах пулеметы, у нас у всех торчат за поясами револьверы, многие увешены бомбами, иные хватили лишку: протянули через плечо пулеметные ленты.

Первая ночь прошла. В три часа дня назначено заседание Совета. К нам приходят сведения, что на почте-телеграфе неблагополучно: служащие собираются кучками, о чем-то сговариваются, контроль наш совершенно игнорируют, всячески его оттирают, при случае глумятся и все время провоцируют — вызывают на брань.

Уже несколько телеграмм послано в Москву помимо контроля. Ясное дело, что тут затевается что-то неладное. Но как, как дощупаться до всего? Откуда возьмем знатоков дела? Кто поможет? Провести любого из нас не составляло ни малейшего труда. Мы хорошо понимали, что контроль наш, действительно, лишь «постольку — поскольку», что если и не будет обмана, то не по дозору, а единственно из страха «спецов» перед нашим крутым наказанием.

В двенадцать часов почтово-телеграфщики заявили Совету свой протест по поводу контроля, «потребовали» его убрать, угрожая в противном случае приостановить работу. Они ссылались на беззаконность и ненужность самого мероприятия, т. е. постановки контроля, указывали на грубости, которые якобы позволяли рабочие, говорили о том, что контроль осложняет всю технику дела и дальнейшую работу делает окончательно невозможной; что, наконец, у них, почтово-теле-

графщиков, есть свой Центральный Комитет в Москве, и они еще не знают его точки зрения на нашу меру, а если точка зрения ихнего ЦК будет отрицательная, тогда, дескать, «во имя профессиональной дисциплины они не могут нарушить» и так далее и так далее.

Мы эту дребедень выслушали. Понимали, что за пустыми словами кроется самое явное, самое недвусмысленное дело: им немила рабочая власть, они борются за Временное — увы! уже свергнутое — правительство... Но от репрессий мы пока решили воздержаться, предложили им выбрать представителя и прислать его на сегодняшнее заседание Совета в три часа.

Представитель явился: какой-то фертик в воротничках и манжетах, с высокомерным, надменным лицом... Впечатление производил отрицательное. Держался нагло, почти смело — будто за спиной у себя чувствовал непреоборимую силу. Надо сказать, что вокруг почтово-телеграфщиков уже стала группироваться беленькая, серенькая и даже совершенно черная интеллигентская обывательская масса.

Представителя фактами прижали к стене и заставили сознаться, что никаких оскорблений от рабочих контролеров в сущности не было, что технику дела контроль не убивает и так далее.

— В чем же дело, — задаем ему вопрос.

Минутку помялся, а потом заявил:

— Мы, организованные демократы почты и телеграфа, прежде всего являемся людьми совершенно беспартийными и к политике никакого отношения не имеем... Свою работу как вели, так и будем вести. Нам все равно, чьи отправлять телеграммы: ваши или фабрикантовы. Это мы и будем делать... Контроль требуем снять немедленно, а когда явится надобность в Совете — мы сами сюда пришлем извещение. Мы также думаем, между прочим, что власть должна быть выбрана всем народом, а захватов никаких поощрять не станем. Поэтому выбранное всем народом Временное правительство признаем как единственное законное и станем помогать...

Молодцу не дали договорить — поднялся невообразимый шум. Рабочие вознегодовали, услышав в своей среде вызывающие речи этого господина: тотчас же

«пятерке» поручили принять по отношению к наглеющей публике беспощадные меры. Когда волнение поулеглось — представителя отпустили восвояси, только наказали ему снестись со своим Московским ЦК и назавтра, к заседанию Совета, представить результаты переговоров.

Но каково же было удивление, когда на утро — это было 27-го — почта и телеграф объявили забастовку и прекратили работу. Что было делать? Мы оказались изолированными. Железнодорожники обещали пару-другую телеграфистов и телефонистов, но что же с ними одними поделаешь!

Сейчас же созвали к Совету рабочих, набрали группу хоть кое-что понимающих, послали их на место забастовавших.

В этот же день созваны были президиумы всех социалистических партий, железнодорожного и полкового комитетов, в полном составе Городская Управа и Исполком.

Лишь только открылось заседание, как меньшевики, эсеры заявили свой протест (против чего?) и ушли.

Главною целью заседания было избрание вместо «пятерки» постоянно действующего органа — Штаба революционных организаций. Мы вошли в эту новую организацию: два от Исполкома, один от Управы, по одному от комитетов: большевиков, максималистов, железнодорожного и полкового.

Ночью же «пятерка» передала Штабу свои полномочия и дела. В эту ночь и весь следующий день с телеграфом и телефонами намаялись мы немало.

Помню до сих пор, как трудно достался мне один № 88 телефона, как отчаянно пошла кругом голова от всей этой работы. Сгоряча, видя, как трудно работать с «чужими», мы решили создать из ткачей свою армию телеграфистов, телефонистов, почтовиков и открыть для этого в ближайшие дни специальные курсы.

Но дело обернулось по-другому — никаких курсов создавать не понадобилось.

На следующий день, 28-го, всю эту забастовавшую ораву (их было человек двести) мы арестовали и проводили в столовую Куваевской фабрики: помещение холодное, неприветливое, угрюмое.

Сначала арестованные геройствовали, держались с

большим гонором, на что-то надеялись, чего-то ждали... Но чем дальше, тем быстрее падало их настроение.

Было уже, помню, около десяти вечера. В Совете шло заседание.

Решено было избрать теперь же человек двадцать из присутствовавших, разработать специальные вопросы арестованным и ночью же отправиться в столовую для допроса. Уже готов был вопросник, но перед самым отправлением передумали, и нам, четверым, поручено было отправиться на «политическую разведку».

Разведка удалась — она превратилась даже в настоящее сражение, и это сражение окончилось нашей победой...

— Кто такие почтово-телеграфщики? — спросили мы себя... — Представляют ли они единую массу, с едиными интересами?

— Конечно, нет.

— Все ли они враги наши?

— Нет.

— Так нельзя ли их раздробить по сему случаю?

— Ясно, что можно.

И мы принялись дробить.

Обращаясь, главным образом, к почтальонам, прислуге, мелким чиновникам, мы указали, разъяснили им, где чьи интересы, и рекомендовали отколоться от «высоких» чиновников, высказав нам свободно и совершенно безбоязненно свое мнение.

Результаты были чудесные: после двухчасовой перепалки, споров, беседы, протестов, ультиматумов мы добились того, что заключенные «генералы» остались в жалком меньшинстве, а вся масса порешила бросить забастовку, завтра же утром встать на работу, оставляя наш контроль и присоединяя к нему свой, для избежания технических осложнений... Отлично — мы согласились.

Весь «инцидент» на этом и закончился.

Дни были нервные, нервничали и мы: даже свой боевой орган, Штаб революционных организаций, не распускали целых две недели...

Как оглянешься назад, — дух захватывает от величественного пути, который открыли незабываемые Октябрьские дни.

М. В. ФРУНЗЕ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Помню я — Иваново-Вознесенск, 1917 год, жуткий голод, неисходную безработицу, армию голодных, раздетых ткачей. А наряду с тем — кипучая работа в фабзавкомах, закреп советской власти, строительство новой, красно-ткацкой Иваново-Вознесенской губернии: из кусочков Владимирской, Ярославской и Костромской надо было сшить свою, текстильную. Фрунзе в те дни работал председателем Шуйского совета. И его вызывали в Иваново — на это новое большое дело. В конце года были съезды,— на этих съездах и решали вопросы организации губернии, — в работах съездов первая роль принадлежала Михаилу Васильевичу Фрунзе.

Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в памяти своей добрые серые глаза, чистое бледное лицо, большие темнорусые волосы, откинутые назад густой волнистой шевелюрой. Движения Фрунзе были удивительно легки, просты, естественны — у него и жестикуляция, и взгляд, и положение тела как-то органически соответствовали тому, что он говорил в эту минуту: говорит спокойно — и движения ровны, плавны, и взгляд покоен, все существо успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и вспыхнут огнями серые глаза, выскочит на лбу поперечная строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро перематывается на стуле, голос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как держит себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться норову, как обуздывает кипучий порыв. Прошли минуты, спало волненье — и вошли в берега передрожавшие страсти: снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны и покойны движенья, только редко-редко вздрогнет в голосе струнка недавнего бурного прилива.

Я запечатлел образ Фрунзе с того памятного первого заседания в семнадцатом году, и сколько потом ни встречался с ним в работе, на фронтах ли — я видел всегда его таким, как тогда, в первый раз: простым, органически цельным человеком.

От общения с ним, видимо, у каждого оставался аромат какой-то особой участливости, внимания к тебе,

заботы о тебе — о небольших даже делах твоих, о повседневных нуждах.

Недаром и теперь, когда встал он на высочайшем посту народного комиссара, — и теперь ходили к нему на прием вовсе запросто и блузники-ткачи и крестьяне-лапотники, шли к своему старинному подпольному другу Мише, которого еще по давним-давним дням знали и помнили как ласкового, доброго, сероглазого юношу.

КАК СОБИРАЛСЯ ОТРЯД

Иваново-Вознесенск. Конец 1918 года. Заседает бюро Губкома — обсуждают вопрос о необходимости создать спешно рабочий отряд, пустить его на колчаковский фронт. Говорит Фрунзе:

— Положение совершенно исключительное. Так трудно на фронте еще не было никогда. Надо в спешнейшем порядке сделать армии вспрыскивание живой рабочей силы, надо поднять дух, укрепить ее рабочими отрядами, мобилизовать партийных ребят — ЦК проводит партийную мобилизацию... А нам, иваново-вознесенцам, колчаковский фронт важен вдвойне — там пробьем дорогу в Туркестан, к хлопку, пустим снова наши стынущие в безработице корпуса...

Я помню, — все мы, верно, до последнего человека, заявили о готовности своей итти на фронт. Но нельзя же отпустить целый губком, — стали делать отбор.

И какое было жадное соревнование: вперебой каждый рвался, чтобы отпустили именно его, высказывал доводы, соображенья. В личной беседе, еще раньше, Фрунзе говорил мне, что берет с собой; он уже назначался командовать IV армией. И каков же был удар, когда я узнал, что вместо меня едет Валериан.*) Я устроил сцену и Валериану и Фрунзе.

— Ну, как-нибудь там уладьте... может и отпустят, — посоветовал Михаил Васильевич.

Переборол. Согласились. Уже много позже дали бумагу в том, что являюсь:

«...уполномоченным Иваново-Вознесенского губернского комитета Российской коммунистической партии

*) Наумов.

по препровожденню отряда особого назначения при IV армии в район действий этой армии».

На этом же заседании постановили и про отряд. У меня сохранился самый документ. Вот он:

«Выписка из журнала заседания бюро губернского Иваново-Вознесенского комитета Российской коммунистической партии от 26 декабря 1918 г.

1. Ввиду особой важности для нашего промышленного текстильного района скорейшего завоевания Оренбург—Ташкентского направления;

2. Ввиду необходимости поднять настроение стоящих там красноармейских частей и

3. Принимая во внимание отъезд на этот участок фронта председателя губернского комитета партии товарища Фрунзе — постановляется:

Организовать отряд особого назначения из рабочих Иваново-Вознесенского текстильного района и отослать его в район действия IV армии».

Мы дружно взялись за отряд — рабочие шли охотно, в короткий срок набралось как надо. Приодели из последнего, добыли с трудом оружие — кажется, снеслись с Москвой, свезли оттуда.

Натащили литературы; в гарелинских казармах, где стояла часть отряда, вечерами занимались культработой, готовились к фронтовой борьбе, — понимали, что придется действовать не только штыком, но и дельным, нужным словом. Особенно помнится мне в эти дни близкий друг Фрунзе — Павел Степанович Батурин. Он заведовал тогда губернским отделом народного хозяйства. Но при организации отряда все время возился с оружием, отовсюду собирал его, раздавал отряду.

Позже, в конце 1919 года, прислал его Фрунзе вместо меня, отозванного на другую работу, — комиссаром Чапаевской дивизии. Но недолго проработал он на этом посту — казацкий налет изрубил штаб, изрубил политический отдел, погиб тогда в жестокой сече и славный комиссар Павел Батурин.

Мне помнится, он все рассказывал про Фрунзе, как тот сидел во Владимирском централе, как ему Павел Степанович переправлял туда книги, рассказывал диковинные вещи про смертника Фрунзе: в заключении он не потерял бодрость настроения, много занимался со-

бой, изучал что можно было, для товарищей являлся лучшим образцом, подбадривая их своим примером.

Отряд был готов. Погрузились. Проводили нас тысячные толпы рабочих, наказывали не посрамить красную губернию ткачей, клялись не забывать наших семей, помогать им в трудные дни.

Мы приехали в Самару, там ждали приказа Фрунзе — направляться немедленно в Уральск.

Так началась боевая история славного Иваново-Вознесенского полка — он бился с Колчаком, потом ходил на польский фронт — в рядах героической Чапаевской дивизии.

И в самые тяжкие минуты помнили бойцы своего командира Фрунзе, воодушевлялись одною мыслью, что он где-то здесь, около них, что он руководит борьбою...

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

В конце восемнадцатого года, когда решен был вопрос об отправке на фронт из Иваново-Вознесенска рабочего отряда, мы, группа партийных тамошних работников, собрались на разлуку: многие из нас уезжали вместе с отрядом.

Собрались запросто посидеть, потолковать, обсудить обстановку, создавшуюся в губернии в связи с отъездом такой массы ответственных партийцев, всего что-то человек двадцать — двадцать пять. Мы понимали, что собираемся, может быть, в последний раз, что больше в таком составе не собраться уже никогда: открывалась перед нами новая полоса жизни. Вот мы рассыплемся по фронту, вот перекинемся на окраины, зацепимся на боевых, командных, на комиссарских постах, может быть, застрянем где и по гражданской работе в прифронтовой полосе.

Так думали, так оно и случилось; мы уже потом, через годы, совсем неожиданно сталкивались друг с дружкой где-нибудь на Урале, в Сибири, в Поволжьи, даже в далекой окраине Туркестана, в Джетысуйской области. Иные уж и совсем не воротились назад: в первых же боях с уральскими казаками погиб старейший большевик Мякишев; потом зарубили казаки же под Лбищенском Павла Батурина, а где-то под Пугачевом, окружив и искрошив наш полк, озверевший враг

надругался над трупом рассеченного в бою, незабываемого бойца и комиссара Андреева.

Да, мы знали тогда, в этот прощальный вечер, что собираемся в последний раз. С нами был и Фрунзе — он вскоре принимал командование армией, уезжал в Самару. Сколько там выхлестнуто было пламенных речей, сколько было пролито дружеских настроений, сколько раскатилось гневных клятв, обещаний на новые встречи, какая цвела там крепкая, здоровенная уверенность в счастливом исходе боевой страды!

Помню, Фрунзе говорил все про свое, про заветное:

— Ну, что ж, тяжело, может быть и тяжелее... Нам бы вот теперь эту пробку откупорить, что под Оренбургом, — там прямая дорога к туркестанскому хлопку...

Эх, хлопок, хлопок, как бы ты разом на ноги встряхнул наши притушенные корпуса!..

И когда мы потом очутились на фронте, казалось— самая острая мысль, самое светлое желанье Фрунзе устремлены были именно к Туркестану.

Лишь только «откупорили оренбургскую пробку», Фрунзе сам помчал в Ташкент, и с какой он гордостью, с какой радостью сообщал тогда о первых хлопковых эшелонах, тронутых на север; видно, в этот момент осуществлялась лучшая, желаннейшая его мечта...

Сидели и толковали мы тогда в Иванове про разное, говорили много и про город рабочего района.

— Будем оттуда помогать, — сказал уверенно Фрунзе. — Как только малейшая возможность — глядишь, десяток — другой вагонов хлеба можно и дослать!..

И помню, уже с фронта сколько раз отсылал он голодным ткачам хлебные составы, сколько положил он тут забот, сколько выдержал осад из Наркомпрода, сколько крови попортил на спорах, на уговорах, на всей этой сложнейшей возне с заготовками и самостоятельной переправкой эшелонов к Иваново-Вознесенску: в те дни задача эта была исключительно трудна.

И вот о чем, о чем только ни говорили мы в тот памятный вечер — все зарубал Фрунзе в своей памяти, все осуществлял потом среди адской работы, несмотря ни на какую сложную обстановку.

Он свой северный край, Иваново-Вознесенский край, любил какой-то особенной, нежной любовью. Даже и

теперь, в эти дни, перед смертью, перед операцией, он наказывал кому-то из ближайших друзей.

— А помру — похоронить меня в Шуе... там — знаешь, что на Осиновой горке...

И все, все припомнилось мне теперь, из того незабываемого прощального вечера.

Мы пели песни, запели его любимую:

Уж ты сад, ты мой сад,
Сад зеленый мой...

Мы хором подхватывали, дружно вели мелодию прекрасной печальной песни. Пел и Фрунзе. Он положил голову на ладонь и подтягивал. Пел, а серые умные глаза были свежи и трезвы, видно было, что и за песней все работает — работает без перебоя его мысль, не оставляют его какие-то тревожные думы.

Уже давно и далеко вглубь ушел тот вечер, ему восемь диковинных и великих годов. Уж многих нет из тех, что пели тогда про зеленый сад, а теперь вот ушел и лучший, первый между нами, — нет любимого Михаила Васильевича, нет прекрасного и редкостного человека с мудрой головой и с нежным и детским сердцем.

ВСТРЕЧА В УРАЛЬСКЕ

Иваново-Вознесенский рабочий отряд временно задержали в Самаре. Нас четверых Фрунзе спешно вызвал в Уральск. Стояла глухая зима 1919 года. Красная линия фронта была под самым Уральском, что-то верстах в двадцати—тридцати. Мы ехали степями, на перекладных и дивились на сытую жизнь степных богатств сел и деревень. После голодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не давали хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной шелухой, а картошку ели взасос и на закуску, нам, после этого сурового голода, степная жизнь показалась сказочно-привольной, удивительной и не похожей ничуть-ничуть на ту жизнь, которой жили мы вот уже полтора голодных года.

Было здесь и другое, что отличало степную жизнь от нашей северной: близкое дыхание фронта. Степь была — как вооруженный лагерь: она полна была и людьми, и лошадьми, и скотом, и хлебом — мобилизована для фронта. Здесь и разговоры были особенные — все про полки, про казачьи сотни, про недавние бои,

про смерть близких людей. Попадались то и дело раненые, приехавшие в семьи на поправку. Мы остро чувствовали, что едем в новую жизнь.

Приехали в Уральск. Уральск — просторный степной город, в нем сгрудилось в те дни огромное количество войск: отсюда уходили полки на позицию, сюда приходили со смены, здесь отдыхали, чинились, подкреплялись и уходили снова. По городу грохотала непрерывная пальба, нето учебная, нето случайная — на удаль, как здесь в то время говорили: «огонь по богу!». Помнится, встретились с одним из ближайших помощников Фрунзе, с Новицким Федором Федоровичем, он с ужасом заявил:

— Чорт знает чего палят! И поверите ли, за сутки больше двух миллионов патронов ухлопают... Не взять еще сразу нам в руки — ну, да осмотримся, остепеним...

И в самом деле остепенили: пальбу и весь этот вольный разгул утишило скоро, особенно же, когда влились сюда иваново-вознесенские ткачи.

Мы, как только приехали в Уральск, заторопились увидеть Фрунзе, а он — на позиции. Мы его увидели только ввечеру. И, помним, рассказывал тот же Федор Федорович:

— Насилу его удержишь, Михаила Васильевича; все время выскакивает вперед... Мы уж спрятались за сарай, оттуда и наблюдали... а его все поддерживали около себя... Да и бой-то вышел нам неудачный... чуть в кашу не попали....

Мы входили в комнату Фрунзе. Он сидел, склонившись над столом, на столе раскинута карта, на карте всевозможные флажки, бумажки, пометки... Кругом в почтительных позах старые полковники — военные специалисты — обсуждали обстоятельства минувшего неудачного боя, раскидывали мысли на завтрашний день.

Фрунзе принял нас радостно, приветливо, сжал руки, кивнул на диван, показал глазами, что надо обождать, когда окончится совещание. И потом, когда спецы ушли и мы остались одни, он подсел к нам на диван, обернулся из командующего — старым, милым товарищем, каким знали, помнили его по Иваново-Вознесенску, завел совсем иные разговоры — про родной город, про

наши фабрики, расспрашивал, как живут рабочие, как мы ехали с отрядом, узнавал, какое настроение в степи, как мы сами тут устроились, в Уральске. Рассказывал про сегодняшний неудачный бой, про новую, замышляемую нами операцию, прикидывал, кого из нас куда послать... Мы просидели, проговорили до глубокой ночи. Шли к себе в номер, беседовали:

— А под глазами-то кружки... осунулся.

— Пожелтел...

Мы не видели его всего-навсего два месяца, а перемена была уж так заметна. Дорого доставалась ему боевая работа.

Скоро мы все разъехались к действующим частям, утеряли из виду Михаила Васильевича на долгие месяцы.

ДЕСЯТЬ МИНУТ

Иной летучий, крошечный фактик так врезается в память, что не забыть его во всю жизнь. Это значит, что фактик этот по существу своему был не мелочью, что действие его было глубокое, что смысл его был серьезен, и только внешняя форма — летучесть, краткость, внезапность — отпечатлели его как мелочь.

Как-то в 1919 году, в апреле—мае, полки 73 бригады расколотили колчаковскую часть. Уж не помню, насколько значительна и важна была эта победа, не помню, были ли какие трофеи, выигрывалось ли особо серьезное положение. Но после удручающих весенних неудач и этот выигрышный бой был на виду. Штаб бригады стоял в какой-то татарской деревушке. Маленькая закуренная комнатка, телефоны, аппараты на столе, склоненные чирикающие телеграфисты. То и дело взвизгивает дверь в избу — командиры ли, вестовые входят, иной раз в латанной шапке, в ватном балахоне прорвется житель — татарин с жалобой за теленка, за утащенные неведомо кем лопату, бадью, оглоблю...

В штабе шум и гул, в штабе чирикающий беспрерывно говор аппарата... И вдруг тихо:

— Фрунзе приехал...

— Как Фрунзе, где?

— Сюда не смог — машина встала в грязи... Подходит пешком. С ним какой-то усатый... Ну, уж конеч-

но, усатый этот — первый его боевой соратник, Федор Федорович Новицкий.

И в штабе вмиг все подтянулось, встало и село на свои места — словно и комната стала просторней, и аппарат заработал отчетливей, и взгляды у всех посвежели, забодрились, засветились.

Короткой и крепкой походью, как всегда, чеканно отстукивая каблуками, Фрунзе вошел в штаб. Мы хотели было рассказать про удачу, а он уже все знал; ему хотели рассказать про общее положение, настроение татар-сельчан, про трудности с перевозкой артиллерии по этакой глинистой вязкой дороге, про медленный подвоз патронов, про нехватку, а он сам, прежде чем скажут, подсказывает то же самое: видно сводки и отчеты не соскальзывали у него с памяти, а зацеплялись там какими-то крючечками и цепко держались до нужной минуты. Он пробыл недолго. Тут же, за этим штабным столом, наметал благодарственный приказ и передал его:

— Распространить... Прочесть... Молодцы, ребята!..

Он пробыл всего, может быть, десяток минут — заглянул только по пути, торопился в другое место.

И после этого короткого визита — отчего же стало всем так легко, словно набрали полной грудью свежего воздуха и дышат — не могут надышаться?

Простые нужные слова, этот освежающий, бодрящий приказ, эта весть по полкам, что Фрунзе тут, около и сказал спасибо ребятам за удачу — все это освежающей волной прокатилось по полкам, и полки помолодели, повеселели. Кажется, и крошечный фактик, а, видимо, важен, нужен был он в те дни и часы. Только весть о приезде и только дружеское слово любимого командира, — а сколько от этого жизни, сколько заново уверенности в себе, какой подъем!

ПРИМИРИТЕЛЬ

Близкие друзья когда поспорят, так крепко: наотмашь, сплеча, не жалея самого дорогого—свою дружбу.

Как-то, злые и нервные до предела, ехали мы в степи с Чапаевым. Он слово — я слово, он два — я четыре. Распалились до того, что похватались за наганы. Но вдруг поняли, что стреляться рано — одумались,

смолкли. И ни слова не говорили весь путь — до штаба 73 бригады. Отношения переменились как-то вдруг, и мы ничего не могли поделать с собой. Экспансивный и решительный, мало думая над тем, что делает, Чапаев написал рапорт об отставке. Дал телеграмму Фрунзе, что выезжает к нему для доклада. А я знал, о чем будет этот доклад, — Чапаев вгорячах может наделать всяких бед. И я послал Фрунзе поперечную телеграмму: не разрешайте, мол, Чапаеву выезжать на доклад, скоро приедем вместе, тогда выясним дело.

Фрунзе—Чапаеву воспретил приезд. Прошли дни горячих боев, — мы собрались, поехали в Самару.

Звоним из штаба на квартиру:

— Михаил Васильевич дома?

У телефона жена Фрунзе, Софья Алексеевна.

— Дома, лежит больной, но вас примет. Только, пожалуйста, недолго, не утомляйте его...

Приехали. Входим. Михаил Васильевич бледный, замученный, лежал в полумраке, улыбнулся нам приветно, усадил около, стал расспрашивать. Говорит о положении на фронте, о величайших задачах, которые поставлены нашим восточным армиям, справляется о наших силах, о возможностях, рассказывает про Москву, про голод северных районов, про необходимость удесятерить наш нажим, столкнуть Колчака от Волги. Говорит-говорит, а про наше дело, про ссору нашу ни слова — будто ее и не было вовсе. Мы оба пытаемся сами заговорить, наталкиваем его на мысль, но ничего не выходит — он то и дело уводит беседу к другим вопросам, переводит разговор на свой, какой-то особенный, нам мало понятный путь. И когда рассказал, что хотел, выговорился до дна, кинул нам, улыбаясь:

— А вы еще тут скандалить собрались! Да разве время, ну-ка, подумайте... Да вы же оба нужны на своих постах — ну, так ли?

И нам стало неловко за пустую ссору, которую в запальчивости подняли в такое горячее время. Когда прощались, мы чувствовали оба себя словно прибитые дети, а он еще шутил, напутствовал:

— Ладно, ладно... Сживетесь... вояки!..

Мы с Чапаевым уходили опять друзьями: мудрая речь дорогого товарища утишила наш мятежный дух.

ФРУНЗЕ ПОД УФОЙ

В весенние месяцы девятнадцатого года черной тучей повис над Волгой Колчак. Мы сдали Уфу, Белебей, Бугуруслан, — в панике красные части россыпью катились на волжские берега. У Бузулука, под Самарой, у Кинеля взад и вперед метались эшелоны, мялись на месте разбитые, упавшие духом полки.

Казалось, ничто уж не может теперь вдунуть дух живой этим войскам, потерявшим веру в себя.

Передовые разъезды Колчака рыскали в сорока верстах от Бузулука, выщупывали Поволжье, шарили наши части. Близились дни драматической развязки.

Накругло сутки — в кабинете Фрунзе, в оперативном отделе, в штабе наших войск—кипела страстная работа. Быстро снимались красные полки туда, где теплилась чуточная надежда, вливали свежие, здоровые роты, ставили новых, крепких командиров из тыла в строй, отправляли отряды большевиков, целительным бальзамом оздоровляли недужный организм армии; с других участков, с других фронтов перекидывали испытанные части, в лоб Колчаку поставили стальную дивизию чапаевских полков. Гнали на фронт артиллерийские резервы, ящики патронов, винтовки, пулеметы, динамит, продовольствие хозяйственным частям: тыл в эти дни фронту служил, как никогда. «Все для фронта» — и железной рукой проводили в жизнь этот мужественный лозунг.

У Фрунзе в кабинете совещанья, Фрунзе в штабе диктует приказы, Фрунзе в бессонные ночи никнет над прямым проводом, Фрунзе тонкой палочкой водит по огромным полотнищам раскинутых карт, бродит в цветниках узорных флажков, остроглазых булавочек, плавает по тонким нитям рек, перекидывается по горному горшку, идет шоссейными путями, тонкой палочкой скачет по селам—деревням, задержится на мгновение над черным пятном большого города—и снова стучит-стучит-стучит по широкому пространству красочной, причудливой, многоцветной карты...

Около — Куйбышев чуть крепит бессонные темные глаза, встряхивает лохматую шевелюру; они советуются с Фрунзе налету, они в минуты принимают исторические решения, гонят по фронту, по тылу, в Москву; го-

нят тучи запросов, приказов, советов... И вместе с ними — неразлучные, верные, лучшие, которых только выбрал, знал и любил Фрунзе. Они в те дни провели работу, которую еще не узнала и не оценила история; это они ночи насквозь сидели над мучительно-вздорными сводками фронта, вылавливали оттуда крупицы правды, отмечали паническую или восторженную ложь, из этих крупиц составляли какую-то свою, особенную и мудрую правду, это они давали сырье Фрунзе и Куйбышеву, чтоб из этого многоценного сырья крепкие головы отжимали самое нужное, из отжатого строили свои планы, из планов свивали грозную сеть, в которую должен был попасть Колчак. Кипел неугомонной пламенной работой штаб.

Все понимали, какой момент, какая ответственность; здесь не здоровье, не отдых, не жизнь человеческая были дороги, здесь ставилась на карту сама советская Россия. Бешеным потоком хлестала здесь через края творческая энергия этих удивительных людей; Фрунзе умел подбирать своих помощников. С Фрунзе не задремлешь — он разбередит твое нутро, мобилизует каждую крупинку твоей мысли, воли, энергии; вскинет бодро на ноги, заставит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как бьется сердце и мучается мысль у него самого. Кто с Фрунзе работал, тот помнит и знает, с какой мукой и с какой неистовой радостью он всего себя, целиком, до последнего отдавал — и мысль, и чувство, и энергию — в такие решающие дни.

Крепко сжат был для удара по Колчаку кулак Красной Армии.

Фронт почувствовал дыхание свежей силы. Вздрогнул фронт в надежде, в неожиданной радости. Вдруг и неведомо как перестроились смятенные мысли—полки остановились, замерли в трепетном ожидании перемен.

И вот наступили последние дни. Фрунзе повел полки в наступление...

Как, неужели вперед? Неужели конец позорному бегству, неужто Красная Армия двинулась к новым победам?

В необузданном восторге, круто обернувшись лицом к врагу, вдохновенные, строгие, выросшие на целую голову и не узнавшие себя, — бурной лавиной тронули вперед наши войска...

Вот сошлись с передовыми отрядами врага — легко и уверенно сбросили их назад. Крепла вера в себя. Вот снова ударилась с грудью грудь — и снова отшибли вспять. Выросла вера в огромную силу. Вот первые трофеи, первые партии пленных, вот вести, что к нам перешел неприятельский полк, что дрогнул враг по всему фронту...

Вот они, первые вестники побед. О, какой радостью прокатились по красным полкам эти громовые раскаты первых победных дней! Все настойчивей, стремительней мчит вперед неудержимая красная лава. Уже за нами Бугуруслан, за нами Белебей, Чишма, мы выходим на берег бурной Белой, перед нами высоко на горе раскинулась красавица Уфа. Вот он, ключ к сибирским просторам, вот он, город, который открывает широкую дорогу новым победам.

— Уфа должна быть во что бы то ни стало взята!

Колчак ушел за реку, он на нашем пути взорвал переправы, зажег запасы хлебов, фуража, изуродовал селенья — красные полки шли пепелищами, голой ровенью уфимских просторов. Враг ощетинился на высоком берегу жерлами английских батарей, офицерскими полками, стальной изгородью крепких, надежных войск.

Фрунзе дал клятву взять Уфу, Колчак дал клятву въехать в Москву: две исторические клятвы скрестились на уфимской горе. Уфу стремительно надо вырвать из цепких лап врага. Но как перейти эту бурную Белую, когда нет ни баржей, ни плотов, ни пароходов? Что эти лодочки, что эти бревнышки, стащенные нами к берегам против уфимского моста! Нет, главным ударом надо бить не здесь.

Где-то у Красного Яра, верстах в двадцати повыше Уфы, наша кавалерия остановила в пути два пароходишка, груженных офицерами: пароходы взяли, офицеров утопили в Белой. Эти пароходишки и должны были сыграть невиданную роль.. Живо построили плоты, стянули к Яру дивизии; первой пойдет Чапаевская, первым полком из Чапаевской пойдет на тот берег Иваново-Вознесенский.

Вечером в Красном Яру совещание всех командиров, комиссаров из стянутых к берегу частей. На совещании Фрунзе. Он тщательно взвешивает каждую мелочь, высчитывает, сколько часов в короткой июньской

ночи, когда упадет в вечернем сумраке и снова займется заря, сколько можно бойцов вбить битком на пароходы и плоты, во сколько минут перебросят они на тот берег один, другой, третий полк... Взвешено все, узнана каждая мелочь — как на ладони весь план, как на ладони наши силы, наши возможности, выверены тонко и точно силы врага, предусмотрены жуткие случайности.

— Ну, ребята, разговорам конец, час пришел решительному делу!

И ночью, в напряженной сердитой тишине, когда белесым оловом отливали рокотные волны Белой — погрузили первую роту иваново-вознесенских ткачей... По берегу в нервном молчании шныряли смутные тени бойцов, толпились черными массами у зыбких, скользких плотов, у вздыхающих мерно и задушевно пароходов, таяли и пропадали и снова грудились к берегу и снова медленно, жутко исчезали во тьму...

Отошла полночь. Тихой походью, в легких шорохах шел рассвет. Полк уже был на том берегу.

Полк перебрался, неслышим врагом, — торопливо бойцы полегли цепями; с первой дрожью сизого, мутного рассвета они, нежданные, грохнут на вражьи окопы.

Здесь, на берегу, всю команду вел Чапаев; командовать полками за рекой услал Чапаев комбрига Сизова. За ивановцами вслед должны были плыть пугачевцы, разинцы, Домашкинский полк.

Наши батареи, готовые в бой, стоят на берегу, — они по чапаевской команде ухнут враз, вышвырнут врага из окопов и нашим заречным цепям расчистят путь... Время сжало свой ход, каждый миг долог как час. Расплетались последние кружева темных небес. Проступали спелые травы в изумрудной росе. По заре холодок. По заре тишина. Редеющий сумрак почти ползет с реки.

И вдруг — команда! Охнули тяжко гигантские жерла, взвизгнула страшным визгом утренняя тишина: над рекой и звеня, и свистя, и стоная, шарахались в бешеном лете смертоносные чудовища, рвалась в глубокой небесной тьме гневная шрапнель, сверканьем и огненным веером искр рассыпалась в жидкую тьму.

О-х... Ох-х.. Ох... — били орудия.

В ужасе кинулся неприятель прочь из окопов.

Тогда поднялся Ивановский полк и ровным ходом заколыхал вперед... Артиллерия перенесла огонь — била дальнюю линию, куда отступали колчаковские войска. Потом смолкла, — орудия снимали к переправе, торопили на тот берег.

Переправляли Пугачевский полк, — он берегом шел по реке, огибал крутой дугой неприятельский фланг. Иваново-вознесенцы стремительно, без остановки гнали перед собой вражью цепь и ворвались с налету в побережный поселок Новые Турбаслы. И здесь встали, — зарываться вглубь было опасно. Чапаев быстро стягивал полки на том берегу. Уж переправили и четыре громады броневика — запыхтели тяжко, зарычали, грузно поползли они вверх — гигантские стальные черепахи. Но в зыбких колеях, в рыхлом песке побережья сразу три кувырнулись — лежали бессильные, вздернув вверх чугунные лапы. Отброшенный вверх неприятель пришел в себя, осмотрелся зорко, оправился, повернул к реке сомкнутые батальоны и, сверкая штыками, дрожа пулеметами, пошел в наступление. Было семь утра.

В четырехчасовом бою иваново-вознесенцы расстреляли запас патронов, новых не было, с берега свозили туго: пароходики грузили туши броневиков, артиллерию, перекидывали другие полки.

Сизов отдал приказ:

— Ни шагу назад. Помнить бойцам: надеяться не на что — сзади река, в резерве только... штык!

И когда неприятель упорно повел полки вперед, когда зарыдали Турбаслы от пулеметной дроби, — не выдержали цепи, сдали, попятились назад. Скачут с фланга на фланг на взмыленных конях командир, комиссар, гневно и хрипло мечут команду:

— Ни шагу... Ни шагу назад! Принять атаку в штыки! Нет переправ через реку!

Видит враг растерянность в наших рядах, — вот он мчится, близкий и страшный, цепями к цепям... Вот нахлынет, затопит в огне, сгубит в штыковой расправе...

В этот миг подскакали всадники, спрыгнули с коней, вбежали в цепь...

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, вперед! Ур-ра!

И близкие узнали и крикнули дальним:

— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи!

Словно током вдруг передернуло цепь. Сжаты до хруста в костях винтовки, вспыхнули восторгом бойцы, рванулись смело вперед, опрокинули, перевернули, погнали недоуменные, перепуганные колонны. Рядом с Фрунзе в атаке Тронин, начальник Поарма. И первая пуля сразу пробила смелому воину грудь; теперь в том месте, где черная ранка, — золотой звездой горит на груди у него орден Красного Знамени.

Сизов вослед Фрунзе послал гонцов, наказал под дулом нагана:

— Следить все время. Быть около. Живого или мертвого, но вынести из боя, к переправе, на пароход!

Берегом уже гнали повозки патронов, — их ползком, волоча в траве, разносили по цепям, как только полегли они за Турбаслами. И когда осмелели, окрепли наши роты, — скакал обратно к пароходу Фрунзе. Вдруг грохнуло над головой, и он вместе с конем ударился оземь: коня — наповал, Фрунзе сотряссся в контузии. Живо ему на смену другого коня, с трудом посадили, долго не могли сговорить-совладать, чтобы справить к пароходу, — он, полубеспамятный, уверял, что надо остаться в строю...

Чапаев командовал на берегу: всю тонкую, сложную связь событий держал в руках. Скоро и он выбыл из строя, — пуля пробила голову. Взял командование Сизов. Жарок шел до вечера бой. Ночью искрошили офицерские батальоны и лучший у врага Каппелевский полк. Утром грозно вступили в Уфу.

Из двух клятв, что скрестились на уфимских холмах, — сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты настежь.

СМЕРТЬ

В начале этого года*) погиб драматической смертью старый большевик, иваново-вознесенский ткач Семен Балашов, «Странник» — как звали его в подпольи. И мы тогда, иваново-вознесенцы, живущие в Москве, собирались, обсуждали, как отозваться на эту смерть, как хоронить.

*) Т. е. 1925 г.

Прошло почти полгода, — и снова собираемся за тем же столом, те же, что тогда, но обсуждаем иной вопрос: как отозваться на смерть дорогого земляка — Михаила Васильевича Фрунзе. Тот раз и сам Фрунзе ходил к балашовскому гробу, теперь надо его хоронить.

У каждого так много, много есть что вспомнить и что сказать, но больше молчим, не вяжутся речи, обрывками слов толкуем про делегацию из Иваново-Вознесенска в пятьсот человек, про комиссию по увековечению памяти, про сборник, что-то еще...

Вот сидит — поникшая, печальная — старая когорта подпольщиков. Они помнят мальчика Мишу, совсем безусого юнца, когда держал он пламенные речи на людных рабочих митингах, знают его по каторжным централам, где юный большевик «Арсений» воодушевлял, заражал товарищей своей бодростью, свежестью, непоборимой верой в победу, — победу великого дела борьбы.

Они его помнят по тюрьмам, по ссылке, знают, как он спокойно, мужественно ожидал виселицу... Летучие мысли, памятки, воспоминания...

Потом пошли в Колонный зал.

Там траурной сетью обвиты стены, там в тысячах огней горит зал, но не весело его сиянье, тускл этот похоронный свет пустых огромных комнат.

Склонились знамена, в черных лентах замер портрет красного полководца. Тихи разговоры, задушены горечью, болью стиснуты речи, — так тихо бывает только в комнате трудно-больного, когда близка смерть.

Уж полночь, — скоро из больницы привезут гроб. Мы выстроились в ряды, ждем. И вот — заплакал оркестр похоронным маршем, вздрогнули ряды, головы обернулись туда, где колыхалась красная гробница. Внесли, поставили, первый караул встал на посту — члены Политбюро ЦК. За ними новый караул и новый, и новый — бессменные караулы у гроба полководца...

Вот Надежда Константиновна, — скоро два года, как первый раз стояла она здесь у изголовья другого гроба. Как сложны должны быть чувства, как мучительно должно быть теперь ее состояние, — не прочтешь ничего в глубоких морщинах лица: так оно мно-

го вобрало в себя страданья, что застыло в сосредоточенном, недвижном выраженьи, — лучатся только горем выцветшие очи верного друга великого человека.

Мы дежурим в третьем часу.

Стою, смотрю в это мертвое лицо, на черную ленту волос, на просек ресниц, на глаза, закрытые смертью навек, на сомкнутые крепко губы — и вспоминаю всю свою жизнь, встречи с этим бесконечно дорогим человеком, сыгравшим в жизни моей большую роль. Но об этом не теперь, будет время — вспомним.

Проходят вереницы в почетные караулы, — до утра не редеет толпа. А с утра приливают новые волны, отряд за отрядом, — идет Москва к праху воина.

МАРУСЯ РЯБИНИНА

Городской совет помещался в доме фабриканта Полушина. Дом просторный, удобный, комнат хватало на всех; нашлась внизу, под каменной лестницей, малая каморка и штабу Красной гвардии. В семнадцатом году мы вовсе забывали, где живем на постоянном житье, — там ли, где осталась семья, здесь ли, в Совете, где надо быть на-чеку и ночь и день. И больше времени проводили в Совете. День, от зари до полуночи, по заседаниям, в приемах, по митингам — мало ли что! От полуночи до рассвета дремали мы на широких дубовых столах, по лавкам, на притоптанном, смачном полу, кто где наугад умостится. В штабе гвардии круглые сутки содом. Приходили рабочие с фабрик, отмечались, давали сведения о своих отрядах, получали оружие, подписывались на разных обещаниях, правилах, брали инструкции и уходили. Была бессменная возня с учетом, много хлопот было и с оружием; оно частью хранилось тут же в комнатке, частью — во дворе, в сарае; автомобилями возили его сюда из военкомата.

В штабе гвардии впервые я встретил Марусю Рябинину. Была она девушка вовсе ранняя, годов семнадцати. Лицом кругла, в щеках румяна, носик торчал красной шишечкой, светло-зеленые шустрые глаза просверливали через темную изгородь ресниц. Русые гладкие

волосы Маруси отхвачены коротко и неровно; из-под платочка торчали они за ушами и на затылке будто жесткие оборванные пучочки мочалы. Ходила Маруся в кожаной тужурке, в плотной черной юбке — так ходила и лето и зиму, другого костюма не знала.

Первый раз я увидел Марусю в штабе гвардии. Она сидела пригнувшись круто над столом, опрашивала кучку рабочих, записывала то, что рассказывали.

Прошел восемнадцатый год. В январе девятнадцатого мы уходили на Колчака. Иваново-вознесенские ткачи посылали тогда свой первый тысячный отряд. Этот отряд развернулся на фронте в полк, и прошел тот полк — Иваново-вознесенский полк — страдный путь по Уралу, по Самарским степям, был на Украине, с конницей Буденного, ходил на белую Польшу.

С первым отрядом ушла и Маруся Рябинина.

Горели пожары весенних боев, Колчак наступал на Волгу. То были дни колчаковских побед, дни, когда по югу раздольными полями в Москву развивал свой ход Деникин, когда по северу рыскали хищным зверьем английские добытчики. Советская Россия находилась тогда в когтистом капкане упорного, лютого, смелого врага. Надо было резким усильем разжать капканью цепь, вырвать мускулы из темных пут, врага ударить с отвагой, с размаху в лоб. И первым же крепким ударом надо было вышибить дух Колчака. Мы скликали против победного адмирала со всех концов советские полки.

Округлилась крутой железной грудью и встала в упор и глянула дерзко, не мигая, врагу в лицо дивизия чугунных чапаевских полков. В той дивизии был полк иваново-вознесенских ткачей, в том полку шла бойцом Маруся Рябинина.

С переломных апрельских дней врага повернули вспять. В апреле от Бузулука в Бугуруслан гнали мы белое вражье войско.

Есть такое село в просторах от Волги к Уфе — Пилюгино. Его не забудешь целую жизнь. Был под Пилюгиным бой. Ревели и выли орудия. Шрапнель целовала огненным поцелуем голубой небесный овал. Как злые цепные псы, рвали, визжали пулеметы. Осеченным колосом падали бойцы, птицами бились в подсолнечных зарослях. Враг смолк. Враг пропал. И сразу установи-

лась страшная испуганная тишина. Мы мертвыми цепями молча шли по гумнам к затихшим избам села, шли и не знали — как встретят. Неужто роковая засада припряталась здесь по углам? Неужто эти глухие овины, эти молчащие избы стерегут нас страшной тишью? Мы робко ступали, как в погреб, чиненный динамитом. Крался Иваново-Вознесенский полк, скрипела под ногами непокорная жухлая трава. Шла в цепи Маруся Рябинина. Устало свисла в нервных руках тяжелая каштановая винтовка, глаза горели страстным возбужденьем, но улыбалось открытое, чистое девичье лицо. Полк вкрался в село, тихо вполз в улицы. Село молчало. Враг через гору скрылся в лес.

Прошло недолгое время, и снова уж бьется полк у Заглядина, на берегу Кинеля. Был по цепям приказ: приступом взять вражьи окопы. Окопы на том, на крутом берегу; до окопов вброд, сквозь волны, волнами вперед надо внезапно, срыву прорваться бойцам. Берег рыхл и крут, плотно укрыт в нем враг, врагу наши цепи открыты на удар. Как только метнулась команда, кинулись в волны. В первой цепи Маруся Рябинина. Вмиг, лишь в воду скакнули бойцы, грохнули дробью пулеметы из крытых песчаных дыр.

И первая пуля — в лоб Марусе. Выскользнула скользкой рыбкой — винтовка из рук, вздрогнула Маруся, припала к волне, вспорхнула кожаными крыльями, тиснулась в волны, а волны дружно подхватили, всколыхнули теплый девичий труп и помчали на зыбких зеленых хребтах. За Марусей, за черной мелькающей тенью, в воде вьющимся алым шнурочком дрожала кровавая струя...

Полк прорвался на берег. Полк выбил цепи врага, занял глубокую ленту недоступных нор.

Теперь — далеко позади те годы. И нет больше звонкой круглолицей красноармейки Маруси Рябининой. Но не остудишь сердце, когда с болью и гордостью в памяти встанет прекрасный образ. Сколько, Маруся, таких, как ты, верных до последней жизненной черты, ушло в дни кровавой сечи!

1925 г.

А. Благов

ОКТЯБРЬ

Волной широкой величавой
По всем краям летит молва:
Мы отстояли в битве правой
Свою свободу и права.

Распались тяжкие оковы,
Сражен проклятый капитал:
Сберемся, братья, с силой новой,
Чтобы из праха он не встал.

На свору белых генералов
Острей наточим сталь штыков,
Чтобы вовеки не увяла
Под солнцем доля бедняков.

Довольно жили для богатых,
Таили гнев великий свой:
Отныне будем все — солдаты
Страны Советской трудовой.

Другого нет у нас закона —
Итти вперед прямым путем.
Мы большевистские знамена
Сквозь все преграды пронесем!

1918 г.

ВОССТАВШИЕ

Пришел наш черед,
Мы сказали судьбе:
Не склонимся перед тобою!
Мы лучшую долю
Добудем в борьбе,
Мы счастье возьмем себе с бою!

Мы песню свободную
Грянем дружней.
И песня недаром споется:
Мы верим, что
Чуткое сердце при ней
Желанием воли забьется.

Кто любит свободу,
Как нежную мать,
Свободой, как воздухом, дышит,
Тот с радостным сердцем
Придет в нашу рать,
Лишь звук этой песни заслышит.

Все сильные духом,
Все смелые — к нам!
Мы много и долго терпели:
Под знаменем алым,
По новым путям
Придем мы к намеченной цели.

1918 г.

Д. Семеновский

СХОДКА

Перелески, овражки, овины,
Пояса полевых изгород.
Как цветы посреди лужавины,
На селе собирался народ.

Билось красное знамя—жар-птица.
Словно пчелы, гудело в толпе:
— Нам, товарищи, надо сплотиться,
Как усатым колосьям в снопе!..

Не с похмелья, не с бражного пира
Затянул грамотей-паренек:
«Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног».

Заливалися девки, как птицы.
Будто ленты, вились голоса.
За зеленой парчей яровицы
Откликались на песню леса.

Полыхало на улице знамя,
Дружно пел на приволье народ.
И, овеяны вешними снами,
Перелески гремели: «вперед!»

1918 г.

И. Жижин

НАКАНУНЕ

Улицы рядятся в рдяные шумы,
В гари и грохоте фабрик глухих
Зреют, как угли, народные думы,
Как марсельезы несозданный стих.

В окнах незрячих к железным рогожам
Лица приникли — и стекла-зрачки
Сверху призывно мерцают прохожим.
Слиты в биеньи с сердцами станки.

Робко волнуют и будят просторы
Вестью, что скоро с родимой земли
Троны и недругов лютые своры
Гневом сметет и схоронит в пыли;

Местью возникнут народные думы,
И в миллионах звездящихся глаз
Приговор правый прочтут толстосумы:
Кайтесь, карающий близится час!

Знают за окнами: путь к солнцу горек,—
Скрыты отравы и горести в нем,
Но о героях напишет историк
Труд для потомков червонным огнем.

Стихнет порыв очистительной бури.
С солнцем смешается творческий зной.
Новая песня со звоном лазури
Нежно сольется над милой землей.

1919 г.

ГОЛОС РЕВОЛЮЦИИ

Дни богаты огнями, как росы,
Затаившие вечности пламя.
Как заря, мои красные косы
Расплелись и взметнулись над днями.
Я в столетьях страдание — слезы
Собирала в незримые урны,
Чтоб из горя народного грозы
В мире вспыхнули гневно и бурно.

Час настал. Правды скрытая сила,
Застя тверди пытливые очи,
Облаков огневые ветрила
Пронесла над пучиною ночи.
Духом ожили раб и калека.
Раб и пахарь пророками стали,
И в могучих руках человека
Засияли иные скрижали.

1918 г.

СТРОИТЕЛЬ

Не тот герой, в ком пыл, как лунный рог,
Страданья сердца стерли безвозвратно,
И вождь не тот, кто повернул обратно,
Напуганный бескрайностью дорог.

Увенчан будет славой пятикратно —
Кто в пытках неудач не изнемог,
В дерзаньях неизменно мудр и строг
И знает, что и солнце терпит пятна.

От сох, станков, копей, каменоломен,
Где жизнь была—страдание и стон,
Несем мы на скрижалях свой закон,
Который силой замысла огромен.

Пусть души слабых обуяли жуть и страх,
Но утвердим закон мы свой в веках.

1920 г

ГИМН СВОБОДНОМУ ТРУДУ

Суровых воль могучий пульс — в станки!
Мы сокрушим машин каприз железный!
Бодрее пойте песню, челноки,
В дворцах рабочих Пряхи Краснозвездной.

Греми, наш гимн, под взмахи рычагов!
Гордитесь, трубы, дымным воскресеньем!
И гарь, и гам, и гром, и гуд гудков
Глотает небо с радостным волненьем.

Бывало, нам тюрьмой был каждый час:
Корпи, пока не сдохнешь под машиной.
Но солнце новое взошло для нас.
Привет и слава вольности орлиной!

1920 г.

М. Артамонов

КУЗНЕЦ

Брызжут брызги в звонком кове,
Брызги — искры, света ярь.
Эх, по наковальне звонкой
Размахнись и приударь!

Что ни розмах — звон металла,
Что ни взмах — искрится гарь.
Разве силы в теле мало?
Размахнись и приударь!

Мы куем не цепи—звенья,
Мы куем победный меч,—
В честь грядущих поколений
Дружно надо приналечь!

Покорив, создав машину,
Человек, владыка-царь,
Мощной силою единой
Размахнись и приударь!

Опусти тяжелый молот,
Выкуй счастье, счастье—ярь.
Будет щит нужды расколот —
Размахнись и приударь!

1919 г.

ВИЧУЖАНЕ

Гуляли двенадцать ребят,
Средь них мой младший брат,
Славили молодость песней
В алый весенний закат.
Гитарные пели струны,
Гармонный плавал туман.
Были задорны и юны
Дети ткачей-вичужан.
В те годы,—они не забыты, —
Пылали во тьме хутора,
Страну разоряли бандиты,
Топтали страну юнкера.

Тут молвил один из ребят:
— Идемте, ребята, в отряд!
И подняли руки двенадцать
Веселых и смелых орлят.
А днем в коноваловском доме,*)
Где люстры в подвесках горят,
Стояли под меркой в райкоме
Двенадцать веселых орлят.
В гармонной веселой шумихе,
В тот год, восемнадцатый год,
Из Тезина шли, из Гольчихи
Ребята в великий поход.

Мы их посадили в вагоны,
Под крики и шелест знамен,
И поезд пошел от перона
В далекий большой перегон.
Задумчиво мать-вичужанка,
Под крики и гулы речей,
Шептала:—Иванко, Иванко,
Сумей постоять за ткачей!

Гремели Уральские степи,
Пылали станицы вдали.
Там бились ребята-орлята
За счастье родимой земли.

---

*) Дом бывш. фабриканта Коновалова.

Там бились в Чапаевском строе,
Гремя над Уралом-рекой,
Все вместе орлы и герои
И каждый отдельно герой.

Давно отгремели восстанья,
Как с гор, откатилась вода,
И песни поют вичужане
Про те боевые года.
Звенит еще звонче тальянка,
Цветет сторона — не узнать.
— Он скоро вернется, Иванко,—
Надеется старая мать.

А годы идут, уплывая.
А вести о нем нет и нет.
И в рамке в цветы оправляет
Безусого парня портрет.

1923 г.

В. Полторацкий

ПОЛК ТКАЧЕЙ

Над просторами нашей
Великой страны,
В золотой подымаясь зенит,
Ходит громкая слава
Гражданской войны,
Красной Армии слава гремит.

О Каховке поют,
О Джанкое поют,
Не забыть волочаевских дней...
Боевые друзья,
Вспомним юность свою
И споем эту песню о ней:

Злые тучи закрыли рассвет голубой,
Шел в грозе девятнадцатый год.
Фрунзе поднял ткачей
И повел за собой
В тот овеянный славой поход.

Сквозь уральские степи
На крыльях знамен
Двадцать пятая славу несла.
Будет помниться долго
Сломихинский звон,
Не забудем Бугуруслан.

По-над Белой рекой
Рыскал ветер, как волк;
Теплой кровью кропили мы дол...

Помнишь двести двадцатый
Ивановский полк
Сам Чапаев в атаку повел!

Не померкнут огни
Этих дней под Уфой.
Были наши сердца горячи,
Колчака накормили
Свинцовой ухой
Из своих трехлинеек ткачи.

С нами Фурманов был,
Комиссар молодой,
Что не кланялся перед бедой..
Мы коней напоили
Уральской водой
И днепровской поили водой.

Разметали врагов
От родимой страны,—
И теперь, подымаясь в зенит,
Ходит громкая слава
Гражданской войны,
О чапаевцах песня звенит.

Если ж враг подкрадется,
Оскалясь, как волк,
Снова в грозной щетине штыков
Встанет двести двадцатый
Ивановский полк,
Встанет армия большевиков.



Нас вырастил Сталин—
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил.



М. Шошин

В СЕЛЕ СУРЕНЬ

Весеннее солнце, безмерно щедрое и ласковое, гуляет в полях. По унылому жнивью бродит стадо, отыскивая первую зеленинку. Разношерстые телята, ослепленные солнечным светом, после темных подзыбиц, ревут жалобно и настойчиво. Стадо гуляет первые дни: в голодных глазах костистых коров обида на долгую зиму, на пустые поля, на жесткое полусгнившее жнивье.

Дорога еще не просохла, и мои штиблеты покрыты густой грязью. В размытых колеях косицы песка, мужики на телегах еще не выезжали. Я не узнаю дорогу. Старый березовый придорожный перелесок срублен, и на его месте, в обгорелых пеньках, хмурится от назойливости солнца озимь. Шесть лет, прошедших с тех пор, как я в последний раз прошел по этой дороге, сейчас в моем представлении сливаются в какой-то беспрерывный исполинский день.

Я вспоминаю деревню шесть лет тому назад и себя кудрявым беспокойным пареньком. В те годы комсомольцев в деревнях и в помине не было, и мужики возненавидели меня за отлучки в город и организацию молодежи в ячейку. В ту зиму родился у отца ребенок. По заведенному обычаю и по своему решению отец назначил меня ехать в церковь крестным. Я ненавидел мачеху — жадную до всего бабу — и бесконечно плодовитого и темного отца, к тому же решил показать себя первым безбожником в селе — и отказался. Отец по настоянию мачехи выгнал меня из дому. Я на сход — жаловаться мужикам, дескать, не имеет права гнать—я работал лето. А мужики будто того и ждали:

— Сукин ты сын, что делаешь?

— Смутил всех!

— Куда гнешь?
— Чего ты этим желаешь добиться?
— Гнать его — хуже вора он!
— Уходи, Васька, пока цел!

И вот прошло шесть лет. Я помню себя на рабфаке, в техникуме, на фабриках, в больнице, в Красной Армии, в редакции. Мешок с книжками, важно покачиваясь на моей спине, добродушно подталкивает меня вперед, сбоку, крепко привязанный к ремню, висит радиоприемник со свертком проводов. Я чувствую, как по мере приближения к деревне у меня поднимается бравое и воинственное настроение. Завидев громады берез, колокольню, мельницу и крыши крайних построек села, я думаю:

«Если тогда меня вытурили, так теперь это не удастся, до тех пор, пока я сам не уйду. Я теперь колупну тебя, Сурень, и отчаянно. Не побоюсь никаких угроз и препятствий. Пущу в дело мешок книжек, поставлю радиоприемник, и вы будете слушать далекие слова и трепетать. Организую все, что можно будет организовать».

Вот заслышалась гармошка. Встаю и прислушиваюсь к звукам ее, размеренным и душевным. Нежный девичий голос резко заглушает гармошку:

Я березу белую
На розу переделаю.
Хочешь, милый, на часу
Две измены сделаю.

Поражает смелость и красота частушки. Какая же девушка могла сочинить ее? Как живет село, если девушка запела таким сильным голосом? Вхожу. На улице, на завалинках, по случаю праздника, группы гуляющих и отдыхающих. Гармошка звенит уже на том конце села. Вскоре меня плотно окружают.

— Тюрин пришел!
— Васька Тюрин заявился! — кричат где-то в глубине заулков.

Всем, кто стоит около меня, я сую руку и взволнованно говорю:

— Приехал вот в родные края побывать.
— Будьте добры, — отвечает рыжий бородач Липкин, — Василию Миканорычу наше нижайшее.
— Здорово, Василий Миканорыч.

— Ну-с, как живем?
— Какое наше житье, Василий Миканорыч.
— По-новому манеру живем.
— А это что у тебя за приспособление? — тормошит радиоприемник любопытный дедушка Капитон.
— Это, дедушка, радио называется. Будем слушать Москву. Приходи — тебе первому дам слушать.
Кто-то позади меня громко засмеялся, кто-то ехидно протянул:
— Вот чему удивил!
Дедушка Капитон показывает пальцем на тучу голых березовых ветвей, и я замечаю там два шеста антенны: точно две огромные свечи, они сплелись между тонкими дымками проводов.
— Нам это радио уши все прожужжало, — притворяясь недовольным, жалуется старик. — Целый день орет. Вот, погоди, скоро его спустят.
— Кто же это установил? — спрашиваю, заглушая в себе разочарование и обиду.
— Кто? Один у нас ерой — Макар Курников... Он денег дал, а парни устроили.
Потом прихожу к отцовской избе. Отец сидит с соседом у избы на лавочке. Здоровканье получается совсем безрадостным. Отец медленно протягивает руку и хмуро спрашивает:
— Нагулялся?
Сглотнув слюну и упершись взглядом в его лицо, я спрашиваю:
— Што-о?
Он сдает, робеет и осматривает грязные штиблеты, брюки, пиджак, кепку, косит глазом на галстук и, не взглянув в лицо, кричит в окно:
— Мать, поставь самовар!
К чаю пришли дядя по матери и старший брат, по возвращении из армии воткнувший на краю села дом. Оба были «под мухой» и разговаривали неловко и грубо. Хрипел самовар, звякали немытые рюмки.
— Ну, что, на агронома, что ли, кончил?
— На агронома не учился. Последние два года стихи писал.
— Что же это ты, братан, сплошал? — вздохнул брат.
— В ученьи, видно, не старался... Говорил я тебе,

что меньше, Васька, шатайся по городу, — брякал хвастливый дядя. — Так нет, не слушал меня. Вот теперь и страдай.

Все знали, что дядя Трофим никогда этого не говорил и не мог говорить, но никто не перечил.

— А мы-то на тебя надеялись, — продолжал дядя, — вот, мол, человеком выйдет... Ходил бы летом по полю в легкой рубашке да на мужиков поглядывал. А зимой бы про удой и про заграничных кур рассказывал. Жисть легкая и жалованье.

— Эх, Васька, — всхлипнул отец, — не в меня ты удался. Весь в покойную мать — жидкий такой. Надо за жизнь зубом и ногтем, а ты не укрепился.

Горевали долго, будто им вместо выносливой работящей лошади дали ненужный мудреный велосипед.

— Что же ты будешь делать, сирота горемычная? — разливался дядя. — У отца-то теперь своя семья.

— У меня тут делать нечего, — отрезал отец, и я заметил, как брат прикусил губу, удерживая давно обиженное чем-то сердце.

— Просись к Макару в помощники... Кооператив у него большой — работы найдется, а к дому не стоит и прилепляться, — советовал дядя.

— Только остается Макару кланяться, в кооператив — в приказчики, — настойчиво скрипит отец.

— Ничего мне от тебя не надо, — отвечаю отцу и вылезаю из-за стола, — можешь не пугаться.

Утром утерся махровым полотенцем и повесил на гвоздок у часов. Мачеха решила, что это шарф — отцу подарок — и убрала в сундук. Объяснил, что это полотенце, и заставил опять повесить. Осердилась.

Действительность все мои намерения и планы безжалостно отряхнула. Радиоприемник оказался ненужным, мешок с книжками валялся в горнице неразвязанным. В середине села, на площади, стояла новая лавка кооператива, с чистенькой вывеской, украшавшей здание, как новый картуз. Кооператив на свои культсредства содержит избу-читальню и дает половину суммы, потребной на содержание летних детских яслей. Я чувствую восхищение перед их творцом — Макаром Курниковым. Вон приземистая фигура с кривыми ногами мелькнула передо мной — он прошел снизу, из магазина, вверх в контору.

«Ты заметно порозовел, Макар, — хочется мне сказать при приветствии, но он в деловом хозяйском опьянении не замечает меня. — Твое небольшое, экономное, все из мускулов тело, приученное скудной прежней жизнью на краюшку хлеба и пяток густо посоленных картофелин давать неистощимую энергию, позволило себе роскошь немного располнеть».

Впрочем, многие в селе, такие маленькие и невзрачные, плохо выросшие, скудно питаемые этими широкими, но скупыми полями, стали теперь кормнее и выглядят куда лучше.

Село преклонилось и почтило тебя, Макар Курников, неистощимым своим вниманием, и я, в свою очередь, принес тебе свое почтение. Я два раза порывался разбудить, растормошить, окультурить село. Первый раз было рано: и я был слаб, а второй раз уже опоздал. Эта честь досталась тебе, Макар, и ты стал первым человеком на селе. Ты самоучкой постиг торговую науку и понял сложное дело экономической борьбы.

Налево из-за плотной стены кустов акаций и сирени выглядывает, как лицо деревенской красавицы из серого вязаного платка, обитый тесом и выкрашенный розовой краской дом торговца Чаева, до организации кооператива единственного торговца на все село. Его почерневшая лавка злобно смотрит на новую кооперативную постройку. И стоят они — два здания, объятые незаметной, но непримиримой смертельной враждебностью.

Где, Макар, твоя идея о неизносимой вечной рубашке? Не в этой ли работе ты нашел ее разрешение? Я помню — ты был бедным и незаметным мужичонком на селе. Захлебнувшись в крестьянской нужде, ты стал таскаться по монастырям, думая найти там правду и облегчение. Когда же тебе опротивели грязные и безнравственные болота монастырей, ты вернулся в свою избенку и стал изобретать неизносимую мужицкую рубашку.

Узнав об этом, село обрадованно объявило тебя дураком. Тебе казалось, что российская деревенская нужда, разлившаяся без конца и без края, исчезнет, как только ты изобретешь неизносимую мужицкую рубашку: мужику не надо будет покупать мануфактуру, следовательно, он может меньше продавать хлеба и больше

оставлять его себе, будет сытее, умнее и трезвей. С этими мыслями ты ходил в город к ученым людям; тебя лениво выслушивали, выпроваживали из кабинета и смеялись над тобой. Ты после революции, вероятно, узнал тонкие секреты и хитрые сцепления законов политической экономии и горько усмехаешься над своей неизносимой рубашкой.

Я пересекаю площадь и медленно иду по улице к школе.

День клонится к вечеру, и на село спадает легкая печаль предвечерья. На улице тихо и безлюдно; мужики в полях за вспашкой под яровое, бабы работают в огородах. Школа стоит на краю села, в гнезде кудрявых старых берез, тополей, акаций. За школьной изгородью сразу же начинаются крестьянские постройки, за воротами сельская улица раскалывается на несколько дорог, пересекающих поля.

Заботливая волостная власть подняла старую школу, покрасила крышу, подновила двери и окна.

Оба старика живы и здоровы и, когда я вхожу в калитку, они сидят на крыльце. Никанор читает газету. Иван Осипыч кормит кур. Оба выглядят совершенно по-другому. В особенности поразителен Никанор. Все такой же он крепкий и басистый, все так же, посмотрев на него, подумаешь, что ему не будет износа, но засаленного, уплатанного пехотного мундира с тремя лычками на нем нет, блинообразная фуражка с кантами не украшает его сердитую голову. Он теперь ликвидировал неграмотность, носит штиблеты, брюки с манжетами и толстовку, наскучившую плечам Ивана Осипыча.

Важностью веет от всей его фигуры, потому что он теперь не сторож Никанор, а член союза работников просвещения Голбцев, школьный технический работник и получает ставку. В селе он слывет безбожником, не блюдет постов, на демонстрациях носит флаги и высказывает на улице антирелигиозные мысли. В иное время, утречком, важно облокотившись на школьную изгородь и попыхивая трубкой, он смотрит на тихую, как пруд, деревенскую улицу.

— Почему сегодня не работаете? — спрашивает он проходящего мужика.

— Праздник сегодня... Большой праздник...

— Га-а, — фыркнет Никанор: — Праздник — и не надо, значит, работать?

— Вы, вот, с Иван Осипычем все лето не работаете, да мы ничего не говорим.

— Га-а... Сравнил ероплан с мельницей... Мы же, курья голова, умственный труд. При нашей работе голова целое лето должна иметь роздых.

— А кто газету вверх ногами читал? — смеется крестьянин, намекая на слепое прошлое Никанора, и идет дальше.

Поздоровавшись и осмотрев меня, Никанор спрашивает:

— На службе был?

— Служил.

— А почему голову опустя ходишь?

Рвал он нас, бывало, не ленился, за что и получал от Ивана Осипыча выговоры и предупреждения. В отместку за это мы приносили в бумажках гурты клопов, тараканов, пауков, в изобилии произраставших в отцовских избах, и высыпали на его койку. Говорят, теперь Никанор установил со школьниками контакт и коренным образом перевоспитал себя.

— Никанор, — говорит Иван Осипыч, и старик моментом выпрямляется, — поди-ка, родной, оборудуй самоварчик.

На березах и тополях лопнули почки — начинается великая церемония украшения природы. От пряного духа лопнувших почек, от солнечных дней, от легкости и оживления в теле у Ивана Осипыча приподнятое восторженное настроение.

— Плакушина-то помнишь? — говорит Иван Осипыч, и голос его дрожит. — На передней-то парте сидел?... Прошлый год, братец ты мой, на сельскохозяйственной выставке получил премию — двадцать рублей — за большой урожай корнеплодов.

— А помнишь Федю Клопова из Осиновки?!! Рыжий такой... букву р еще плохо выговаривал? Молочную артель организовал.

— Помню... Всех помню... У вас, Иван Осипыч, хорошее настроение.

— Из чего ты заключил?

— Да из того, что вы вспоминаете только об удачниках.

— Да-да...

Потом мы пьем чай в чистой суровой комнате Ивана Осипыча. У портретов, у картин букеты и букетики полевых цветов, на письменном столе в ореоле завядших георгинов букет из ржи, овса, ячменя.

На стене все та же централка, которой восхищались еще мы, школьники, провожая Ивана Осипыча в лес Выше — токующий глухарь.

На этажерке фотографический аппарат... Это, видимо, очень недавнее увлечение Ивана Осипыча, так как фотоаппарат совсем новенький.

— А Щукин?.. Щукин-то, с которым мы на одной парте сидели. Теперь в Балтийском флоте электриком. Зимой письмо прислал. Никанор, где это письмо? Ты его, кажется, вчера опять читал. Мы все письмо наизусть знаем.

Никанор приносит письмо. Я пробегаю строчки письма о серых водах Балтики, о грандиозности крейсера, о восьмидесяти рублях жалованья сверхсрочной службы на всем готовом...

— Сколько, братец ты мой, хороших ребят вышло!.. Время-то какое хорошее пришло!.. Вот, Вася, умирать очень не хочется. А все прихварываю — ноги у меня плохи, застарелый ревматизм.

— А про Макара Иваныча слыхал, какое дело раздул? Даровитая башка. Сельский герой. Бывало, дураком считали, а теперь уважаемый общественник. Мужики слушаются его и почитают.

— Но ведь он, кажется, не ваш ученик?

— Какой же ученик... Он только на одиннадцать годов меня моложе. Я сам преклоняюсь перед ним — какая настойчивость, какая энергия!..

— Давно ли он организовал кооператив?

— Три года тому назад... Нет, три с половиной. Это было осенью. Он той осенью раз пять ходил пешком в город за советами, за инструктором, за разрешением, за кредитом, на кооперативный съезд. Пятьдесят километров пешком в грязь, в дождь... И нигде, никогда словом не обмолвился о командировочных, о проездных... Об этом все уже забыли, но я в историю революционного села Сурень об этих прогулках Макара Ивановича Курникова запишу на память потомству, которое будет ездить от Суреня до города в автобусе.

Я представил пятидесятикилометровые строчки макаровых сапог на грязи, исторические, достойные прочтения и памяти строчки об освобожденном крестьянском гении, надумавшем улучшить и устроить мужицкую убогую долю.

— Об этом стоит записать, Иван Осипыч.

— Я люблю за ним следить. Он творец... Он не живет, а цветет,— оживляется Иван Осипыч.

Курников радуется, когда видит девок в блестящих калошах или в ботинках на высоком каблуке, бойко выплясывающих тустэп на площадке у избы-читальни... У него расплывается довольная, блаженная улыбка, когда он видит по праздникам баб в новых цветистых платьях и мужиков в лоснящихся черной краской и топырящихся новых штанах. Он приходит в хорошее настроение и становится словоохотливым, когда за чем-нибудь войдет в крестьянскую избу и увидит новую занавеску из ситца с крупными, одуряюще яркими, как бабья мечта, цветами: все эти товары куплены в кооперативе дешево, без обмана. Он одевает сельчан, принаряжает и потом любуется ими и радуется. Он вдруг в самый разгар летних гулянок привозит необыкновенных невиданных рубашек-фантазий. Зная почти всех парней, он предупредительно выбирает рубашку им по размеру. И вот суренские парни щеголяют в красивых рубашках и устанавливают моду во всей округе. Он привозит короба макарон и учит баб их приготовлять.

Макар взял село в свои руки: учит одеваться, питаться, обставлять вещами жизнь. Кооператив неустанно снабжает село самоварами, посудой, косами, топорами. Макар бегает глядеть, почему через два месяца после покупки закапал самовар или почему вяло бреет траву коса. Село знает, что Макар каждый день заходит в магазин — посмотреть, нет ли пустых полок, не запылился, сияет ли, радует ли глаз товар, и в такие минуты покупатели замолкают и приказчик Лаврентий Петухов становится очень обходительным и ласковым с покупателями...

— Вот это, Вася, я понимаю, работник! — восклицает Иван Осипыч и вытирает платком взволнованное запотевшее лицо.

— Вот бы тебе к Макару определиться бы на рабо-

ту, — говорит Никанор и смотрит на Ивана Осипыча, ожидая от него одобрения своим словам.

— Да.. да. Макар давно тужит о хорошем, грамотном и ловком человеке... У него ребята хорошие, да не бойки по грамоте... А ему надо, чтобы все и везде понимали и по счетам, и по бумаге, и по инструкциям.

— А ты долго ли здесь проживешь?

— Да, пожалуй, пожил бы с большой охотой.

— Тогда я с ним поговорю. Да и сам-то ты к нему зайди, он рад будет.

Зашел я к Макару в контору на другой день, но его не было, он уехал в город. В конторе сидит счетовод, он же секретарь правления, Петр Зароков — здоровый парень лет двадцати четырех. Петька первый на селе здоровяк и весельчак. Никто в селе не мог так легко взбросить мешок ржи на плечо, как он, никто не мог свалить его в борьбе. Кто над стариками подсмеивается? Петька Зароков. Кто девок тяжеловесными шутками забрасывает? Петька... Он служил в Красной Армии два года, но был там поваром, и, говорят, стыдится вспоминать о своей службе.

В конторе сидели — пришли тоже к Курникову — четыре комсомольца лет по восемнадцати-девятнадцати. Они пришли просить у Курникова денег на оборудование летней сцены и на починку забора вокруг сада. Они разговаривали о культурно-просветительной работе летом и рассказывали о сложном переплете идейной борьбы на селе.

Зимой по воскресеньям в избе-читальне устраивали спектакли, вечера самодеятельности, работали кружки: селькоровский, сельскохозяйственный, драматический. Когда же наступила весна, все перестали посещать клуб. Кружки развалились. Даже комсомольцы стали редко заходить в избу-читальню. Избитые, шершавые полы, тяжелые скамейки, занавес, запыленный и обвислый, плакаты, уже тысячи раз виденные, — все это напоминало о глухой, нудной зиме и о тоскливости многочисленных зимних вечеров. А весна невестилась... По реке Сурени гнали плоты к Волге, туда, в далекий фабричный край. С плотов слышалась беззлобная бесцельная ругань старых и частушки молодых плотовщиков. Молодежь выходила на берег и любовалась рекой целыми часами. Вечером за рекой мелькали огоньки

рыбаков, на плотах пылали костры и в широких трепетных отсветах мелькали фигуры плотовщиков и сельчан, смотревших на них с обрыва: плотовщики казались чертями, расхаживающими в аду. Гнали плоты с верховьев Сурени, из лесного понизовского массива.

— Вахлакии-и-и! — кричали с обрыва суренские.— Валеный сапог сварили... Скусно ли?

— Слепни-и! — отвечали с плотов. — Точило на реке ловили... Востро ли точит?...

Такой переклик повторялся из года в год, одни и те же задиристые шутки переходили из поколения в поколение. Создатели их давно уже сгнили в могилах, а они ежегодно повторялись сотни раз, и каждый переклик вызывал смех и оживление.

А весенние дни пылали, как костры... Таинственное содружество солнца и земли всех и все согревало и радовало. Хотелось без конца, без усталости ходить по земле и сладостно жмуриться на солнце. Люди заходили в свои дома только пить чай, обедать и спать... И потому весной изба-читальня оказалась ненужной, как шуба. Радиоприемник пел, рассказывал и выкрикивал новости, стоя на подоконнике, и его слушали, усевшись на лужайке перед избой-читальней.

Волевой разброд и душевная размягченность руководителей культурно-просветительной работы, безделье избы-читальни, весенние порывы молодежи были ловко использованы церковниками и кулаками, во главе которых стояли торговец Чаев, холостой форсистый дьячок Изюмский, поп Леонид и его матушка, дородная и крепкая телом, способная и хитрая душой попадья Ираида Игнатьевна. Церковный хор, организованный ими великим постом, весной быстро увеличился — больше чем вдвое. Мало того — было достоверно известно, что они на церковные средства — даяния Чаева, Свешникова и других богатеев села — послали Изюмского в город закупать струнные инструменты для организуемого музыкального кружка. На последней же спевке было объявлено, что культурные силы — так они именовали себя — расширяют свою работу.

— Борис Степанович Изюмский, — ликующим выспренным тоном возвещал поп, — будет преподавать физкультуру, а Ираида Игнатьевна — танцы.

Церковники делали смелые и верные ходы. Все луч-

шие и самые красивые девушки села пошли в хор. За ними потянулось много парней. Аккуратно два раза в неделю просторный церковный дом, в котором теперь жил холостой дьячок Изюмский, грохотал молитвословными песнопениями, а иные дни и песнями скромного грустно-лирического содержания. В настежь раскрытые окна переливы и вожделенные вздохи молитвословий разливались по всему селу.

— Поп комсомольцев в работу берет, — говорили мужики, прислушиваясь к пению, наполнявшему село. — Наш Леонид крылья расправляет.

Мы каждый день с нетерпением ждали Курникова, а он, как нарочно, несколько дней не возвращался, — звонил, что задержался на каком-то совещании в райсоюзе кооперативов.

Макар Курников приехал из города в пятницу вечером. В сумерках за мной пришли ребята во главе с секретарем ячейки Степой Фениным.

— Идем к Макару хлопотать.

— Теперь поздно, до завтра уж...

— Вот чудак! Теперь самое время с ним разговаривать. К тому же сразу после города он находится на самой верхней точке сознательности.

Нас четверо. Мы идем по улице безмолвно, бережем мысли и слова для разговора с Курниковым. Осторожно и бесшумно входим к нему в избу. Они сидят с Петром Зароковым и пьют чай. На столе сахар, маленькие кругленькие карамельки в бумажках, тарелочка с хлебом. В избе никого нет — жена и девчурки на улице. Макар уже узнал от Зарокова цель нашего посещения... Он кивает головой на маленький шкафчик, вделанный в перегородку, и приказывает:

— Берите по чашке и садитесь пить чай.

Наливает себе очередную чашку чая и дает ей время остыть; вынимает из кармана гребеночку с золотой стрелкой букв и расчесывает русую подрезанную городским парикмахером бородку. Лицо его, распаренное чаем, красно и покрыто мелкими, едва заметными каплями пота. Когда мы садимся, в его спокойном взгляде разливается хитрый смешок, и он начинает разговор с издевочки:

— Подъезжаю я сегодня к селу и гляжу, и удивительно мне, что это пух в воздухе летает? Кто это, ду-

маю, пух в тихий воздух пустил? Так и не догадался. Потом приезжаю и мне рассказывают — церковная, слышь, контра наших ребят в пух и прах растрепала.

Он покрывает свои слова задорным смешком. В его смехе чувствуется уверенность и сила. От этого и нам становится легко и весело, и мы вторим ему заливистым и звонким смехом. Он берет карамельку, долго развертывает ее, кладет в рот и поднимает остывшую чашку.

— Тут смеяться нечего, — говорит Степан Фенин, — мы сами знаем, что наше положение смешное. Ты, вот, нам денег давай на устройство летней сцены в саду, на починку забора, на спортивные принадлежности.

— А сколько вам?

О требуемой сумме мы много говорили, и поэтому Степа, ни на минуту не задумываясь, дает ответ:

— Двести рублей.

Изба застывает в молчании. Только слышно, как посипывает самовар.

Макар ехидно оглядывает всех нас поочередно и спрашивает, сдерживая усмешку:

— А не мало ли будет?

— Еще нехватит.

— Куда вам такие большие деньги? Лесу вы сами привезете, забор сами почините, сад вычистите, тесу я вам могу бесплатно доставить.

— А плотникам заплатить — ведь нам надо сцену хорошую?

— А спортивные принадлежности и нам и девушкам? — нападаем мы на него в несколько голосов.

— Так, пожалуй, сотни и хватит, — говорит Макар.

— Нет, нехватит! — кричим мы на него, будто он нас незаслуженно обижает.

— А нехватит, так вот что мы тогда сделаем... Возьмем еще полсотни да и пустим ее в расход.

Наши лица расплываются довольными улыбками, и я отвечаю за всех, как пожилой мужик, степенно и важно:

— Вот это так. Скупиться на это дело не следует. Тут ведь вопрос поставлен так — кто чище спляшет?

— А мне про тебя Иван Осипыч говорил, — спохватывается Макар. — Я с ним в городе столкнулся.

На краю села, в стороне от дороги к городу стоял раньше деревянный двухэтажный дом мелкопоместного барина, но в восемнадцатом году сгорел от худой печки. Пожарище еще в прошлые годы комсомольцы засыпали землей и засадили рябинками и березками. Здесь шумел и подымался по прибрежному угору одичалый, заросший бывший барский сад с вековыми липами, с корявыми подсыхающими яблонями, с молодой порослью тополей у повалившегося и частью растащенного забора. Сад кончался на обрыве у реки. Бывало, от сада к реке плавно спускала господ широкая деревянная лестница. Теперь она пришла в совершенную ветхость, но молодежь не заботилась о ее починке, — находила более удобным вихрем сбегать с горы и, карабкаясь с хохотом, подниматься к саду. По воскресеньям в сад собиралась молодежь; наперебой играли гармошки, парни и девушки хохотали, перекликались частушками, а некоторые уходили парочками в прохладные заросли.

В воскресенье с четырех часов утра мы возили на семнадцати подводах бревна, тес, слеги. Другая половина ребят чинила забор и чистила сад от прошлогодней травы, от опавших сучков. Воскресники в селе были не в диковину — строили кооперативную лавку, комсомольцы помогали вдовам, — а потом работали охотно, без пререканий. Строить сцену Макар уже нанял плотников.

Петр Зароков руководил установкой столбов забора и все утро советовал ребятам приведенный в порядок сад как-нибудь назвать. Дело в том, что ему хотелось этот ласковый сад назвать тем очаровательным словом, которое он прочитал на вывеске в городе. Он еще в том садике выпил бутылку пива и съел три розетки сухарей. Помнил, что там пахло помойной ямой и гнилой землей, но самого названия память не сберегла. Слово какое-то трудное и непонятное, но очень волнующее.

— Должен же я это слово вспомнить, — мучился Петр. — Вот когда я о нем думаю, так душа у меня сладко поет... Так вот бывает, когда слышишь хорошую песню, но потом ее забудешь, и бывает очень жалко.

Плотники закончили постройку летней сцены. Как-то вечером пришел Макар и стал проверять их работу. Он попробовал плечом крепость тесовых стенок, покачал столбы, потом прошелся по сцене и вдруг заметил, что пол в левой стороне под его ногами зыбно подался.

— Евгенов! — крикнул он старшего плотника. — Гляди, пол подо мной зыбнет. Плохо подложили.

— Не провалится... Не воз тут будет стоять.

— Нет, уж разбери и подложи получше, а то и за деньгами не ходи. А если тут хор, например, станет... А то бывает, они играют следствие по убийству, али свадьбу... Бывает человек двадцать выходят, и что ж, они у тебя качаться, как в зыбке, будут?

— Тогда, знамо дело, переберем, — виновато бурчит плотник.

Сойдя со сцены, Макар замечает меня и говорит устало:

— Здорово ты расписал. Читал я и хвалил. Молодец!

Дело тут в том, что я написал большую корреспонденцию в окружную газету о новом лице советского дня в Сурени. Корреспонденция на-днях была напечатана и оказалась, по словам Макара, интересной и правильной.

— Пойдем прогуляемся, — приглашает меня Макар.

Мы идем с ним в тишине угрюмой аллеи.

— Нам такого человека надо, — сразу по существу начинает Макар, — Петруха верный парень, но на письменность очень не быстер... корпит, корпит над бумагами — еле высилит. Все здесь у нас грамотеи малосильные — только сельскую школу прошли. А ты, вот, говорят, все эти годы подучивался, и Иван Осипыч рекомендует, что ты по грамоте дока.

— Да, Макар Иваныч, кой-чему я за эти годы научился.

— Так приходи завтра и принимай дела, Петруху я переведу в приказчики. Парень он сильный, здоровый —с мешками да совком только ему и орудовать. И нервой он крепкий — с покупателями будет хорош. Давно я его на это место прочил. Петухова же в сторожа переведем: он рифметику плохо знает — с деньгами плутоват, да и бабы жалуются — матерщиной больно часто их хлещет... Он, значит, сторожем да за приплату Пет-

рухе по базарным дням помогать будет. Так-то у нас дело шибче завертится. С утра завтра приходи и начинай. Жалование хорошее — сорок шесть рублей.

Простившись с Макаром у выхода из сада, я поворачиваю назад в сад, но слышу за калиткой голос Петра Зарокова и останавливаюсь.

— Кто снял вывеску? — строго спрашивает он.

— Тюрин велел, вот и сняли, — кто-то ему отвечает.

— Почему Тюрин велел?

— Малограмотно, говорит, написано — поправлять это слово хотят.

Городское слово Петр приблизительно вспомнил, и на новых воротах сада висела вывеска, исполненная по бумажке Петра сельским маляром Терехой Ваниным:

ЭДДОРАДО
САД КРЕСТЬЯН
СЕЛА СУРЕНЬ.

Я посоветовал ребятам снять вывеску и заставил Ванина правильно написать слово. Это, безусловно, имело большое значение.

Мы вели борьбу с грамотными церковниками и кулаками; кроме того, сад стоял на большой дороге к окружному городу, мимо него проезжали городские работники, инспектора, учителя, и дать таким пустяком повод в первом случае для бесконечных насмешек и издевок, а во втором — для горестных улыбок, было бы глупо.

— Всякая шпана туда же суется, — говорит Зароков и проходит мимо меня.

Вот он читает правильно написанное слово «Эльдорадо», и глаза его горят обидой.

— Оказывается, мы с тобой, Петух, неправильно наляпали, — говорит Ванин, раскрашивая экзотическое слово.

Петр, ничего ему не ответив, отходит в сторону. Тереха смотрит на меня, и взгляд его говорит: «Гляди — осердился».

На другой день я принимаю дела. Петр не дышит от ненависти. Он принял свой перевод как понижение и крайне озлобился и на меня и на Курникова. Он видит — я грамотнее его и сильнее во всех вопросах, но не хочет этого признать. Он вываливает на стол бумаги, книги и уходит вниз в лавку, не желая давать разъяс-

нений. Я до обеда просматриваю все четыре книги, перечитываю все фактуры и счета, переписку с райсоюзом и волостными организациями, и с особенным наслаждением читаю резолюции Курникова поперек бумажек.

Боясь подвоха со стороны Петра, я обо всем расспрашивал Курникова, и он сидит со мной все время и обо всем рассказывает.

— Петруха-то, — говорю я Курникову, — очень осердился.

— У него характер такой горячий... Ничего. Обойдется. Ему это на пользу, а то он здесь нос сильно загнул — кто я? Выше меня нет... В бюрократы метил... Сам по науке-то слабосильный, а гонору через край.

Через два дня у нас назначена на летней сцене первая репетиция. Нас собирается четырнадцать парней... Мы закуриваем и ждем девушек. Ждем долго. Девушек нет.

— Не придут, — печально уверяет Степа Фенин, — все на спевке, а бюро как раз наперекор спевке назначило репетицию, чтобы перетянуть в сад молодежь.

— Петра Зарокова нет?.. Неужели и он к ним перешел? — спрашивает Тереха Ванин.

— Он за Анкой Митяниной удрягал — боится дьячок ею завладеет. Девка — лучше не надо; только не догляди, живо заграбают.

— Послать надо им записку,—советует Костя Чуев.

— Записка не подействует, — возражаю я, — надо итти всем на спевку, вызвать любушек и увести сюда. Это будет вернее.

С этим предложением все соглашаются, и мы встаем и уходим из сада, туда, к церкви, откуда доносится стройное пение. Вечер ласково гладит нас прохладной успокоительной тишиной.

У дьячковского дома мы встаем за деревьями, за углами и короткое время выслеживаем, что там делается. Хор разделен на пять групп по голосам. В середине стоит дьячок Изюмский с камертоном в руке. У него длинное угреватое лицо; на нелепом большом носу форсит легким блеском своих стеклышек пенсне. Он в сером складном пиджаке Ленинградодежды, в белоснежной рубашке с сивым галстуком-бабочкой.

«Не потому ли он пользуется таким большим успехом у деревенских девушек?. — думаю я, рассматри-

вая своего врага. Вот он привычным движением стукнет камертоном об руку и растягивает:

— До-ми-ля-я... Пианиссимо...

Он поднимает руки, будто хочет пуститься в присядку, потом властно взмахивает, и хор начинает громыхать: «Тебе поем, тебе славим, тебе благодарим, тебе, господи, исповедуем».

В группе басов стоят Чаев, мясник Свешников, объездчик Ваняшов. У Чаева хороша борода: густая, светлорусая, умелой рукой парикмахера превращенная в легкий небольшой квадрат. Лицо у него чистое, румяное, и он выглядит моложе лет на десять, а ему пятьдесят второй год.

В третьей группе девиц поет его дочь, светловолосая красивая девка. Ее голос выделяется — сочный, раскатистый, поет она сильно, и ее пышная грудь дразняще вздымается. Женя — так зовут ее — считается в нашей округе завидной и богатой невестой и требовательно роется в женихах.

Наконец взгляд мой остановился на Анке Митяниной, самой бойкой и, действительно, самой красивой из всех простых крестьянских девушек села. Анка—тайное чаяние всех сельских парней — синеокая, крепкая двадцатилетняя девушка.

Фигурой она мельче и стройней Евгении Чаевой. Глаза у Евгении ленивые, с поволокой, а у Анки бойкие, яркие. Мне вспоминается последний год учения у Ивана Осипыча. Мы с Анкой вместе ходили в школу, так как дома наши были неподалеку. Я, ученик старшего отделения, обыкновенно гордо шел вперед, а за мной тащилась она — робкая малышка из первого отделения. Теперь я вижу красивую статную девушку. Смелость и удаль крепко дурманят мне голову.

Хор заканчивает гимн, откашливается, перешоптывается... Раздают новые ноты... Мы скромно входим через раскрытое крыльцо в дом. В первой комнате околачивается группа сельских парней, в следующей комнате — хор, человек в семь, и среди них Петр Зароков.

Петр смотрит на меня презрительно и вызывающе, но, встретив мой возбужденный и воинственный взгляд, отвертывается. Я встал на порог между двумя комнатами и говорю громко:

— Аня, можно тебя на минутку.

Я чувствую — у меня горит лицо, и четко расставляю слова, чтобы было слышно в обеих комнатах:

— Мне нужно тебя по экстренному делу. Выйдем.

Я слышу, как за мной сходит она, и думаю: «Как хорошо, что подвернулось это слово «по экстренному». Вероятно оно всех поразило своей культурностью и уместностью. Знай наших! Надо с ними бороться ловко и грамотно». Я беру ее под руку и шепчу:

— Сколько же лет мы с тобой не видались?

Она молчит — ждет разговора об обещанном интересном деле. И потом спрашивает:

— Ну, што-о?

— Не сразу... Дай разговориться.

— Но ведь меня там ждут.

— Ну и пусть ждут... Брось ты эту глупость. Петь в церковном хоре в наше время — как тебе не стыдно!

— Там весело... И все там хорошие девушки поют.

В ответ на это я говорю о классовой розни, об идеологической борьбе. Закат за рекой был похож на ярко убранный красный уголок в избе-читальне. Вверху густая синяя полоса, ниже широкая темнокрасная лента, а по бокам красные, синие и серые огромные банты. Поля: зеленая озимь, желтоватые жниво, черная пашня — издалека казалось разбросанными книгами.

Мы сидели на лавочке у садовой калитки, и я уже приглашал Анку участвовать в работе драматического кружка, когда подошли все остальные наши ребята. С ними были три девушки. Растроганные таким успехом, мы с большим рвением провели репетицию трехактной пьесы.

— Идем вместе, нам по пути, — сказал я Анке после репетиции.

Она поднялась и отряхнула полосатую новую юбку, которую одевала по вечерам, отправляясь на спевку. В узкой калитке мы неуклюже пошли сразу вместе, столкнулись сильно и оба засмеялись. Она ласково прижалась ко мне. Я сильно вздохнул и сказал, посмотрев по сторонам:

— Как хорошо в полях!.. Прямо-таки сыт не находишься по земле.

— Чего лучше, — ответила Анка, — поля у нас красивые!

Шли домой по берегу реки. На тихой поверхности воды плескалась рыба. Потом проплыла оторвавшаяся от плота большая связка бревен. На реку пришел ночевать туман и пробовал лечь на воду. В стороне на горе скрипело воротами и перекликалось сонными голосами утомившееся за день засыпающее село. За рекой в лесу токовал тетерев.

— Теперь бы на лодочке покататься, — предложил я.

— Нет... я не поеду. Что-то холодно.

Аня поежилась и зябко прижалась. Я остро ощутил ее ласковое движение, склонил к себе и поцеловал в темные волнистые волосы.

Иван Осипыч прислал мне записку — просит зайти поскорее. Я отправился к нему тотчас же и нашел его у курятника, озабоченного и хлопотливого. Он разъяснял Никанору, как надо содержать кур.

Иван Осипыч печально качнул мне головой и сказал со вздохом:

— Прощай, браток, — уезжаю. Ноги подлечить решил, а то боюсь, зимой совсем не отказались бы действовать. Доктор в городе говорит — попробуй, еще болезнь у тебя совсем не запущена, могут грязи очень подействовать. Место в санатории мне союз обещает устроить. Теперь вот деньжонки сколачиваю и тебя касательно этого пригласил. Купи ты у меня фотографический аппарат. Я тебе по дешевке отдам — за 40 рублей. Хороший аппарат. Я его только два года тому назад выписал через «Крестьянскую газету». Как селькору, мне его со скидкой выслали. Деньги эти небольшие, а дело занятное. Если сейчас денег нет, я доверюсь тебе— на курорт вышлешь.

Очень, видимо, хочется Ивану Осипычу вылечить свои ревматические ноги. Я смотрю на его хилую фигурку, и трогательная мысль проносится в моей голове.

«Дорогой Иван Осипыч, ты часто горюешь, что очень стар. Всю почти свою жизнь ты провел в глухом темном дореволюционном селе, и годы шли беспросветные, темные, нелепые и вязкие, как грязь суренских улиц и дорог, которая наградила тебя ревматизмом. В годы революции ты был уже стар и хвор, а теперь, вот, когда расцветает село, где истрачена жизнь, ты слабо держишься на земле. Ты уже не дерзаешь на большую

новь, ты только завистливо следишь и радуешься... Тебе хочется подольше пожить хотя бы в родном селе, которое радует тебя румяными, не по-бывалошному опрятными и здоровыми школьниками, кооперативом, ячейкой, развернувшимся талантом Макара, летней сценой. Держись крепко на земле, Иван Осипыч, держись!»

Я соглашаюсь взять фотоаппарат и обещаю употребить все силы, чтобы деньги отдать перед отъездом целиком.

— Вот вернусь здоровый, — мечтает Иван Осипыч. — Тогда мы с тобой с осени и примемся...

Никанор кличет меня к себе. Он сидит на старой, выброшенной за полной непригодностью, парте под свежей мелкой листвой берез, курит цыгарку и хмурится.

— Ты тут в селе-то поосторожнее, — бормочет он, когда я сажусь рядом с ним.

— А что такое? Кого мне бояться? — удивляюсь я.

— Надо глядеть... Разувай глаза-то! Человек бывалый, а глядеть не умеешь.

— Чего ты, Никанор, каркаешь? Говори толком, в чем дело?

Он закрывает лицо клубом дыма и долго не отвечает.

— Неужто не видишь, что Петрушка Зароков на тебя зубы скалит? Его в приказчики перевели, а тебя на его место — это ему понижение, али нет? Понижение. Он на Анюшке Митяниной жениться хотел, а ты у него отбил. Это ему щелчок по носу што ли? Как ты думаешь? Ну и что же — парень кипит весь. Я, говорит, ему, этому выгулку, покажу, что есть такое Петька Зароков.

Я вспоминаю слова Макара Курникова о характере Зарокова и охолаживаю Никанора:

— Не беспокойся — он остынет!.. Обойдется.

— Может и обойдется — ну, только все-таки поглядывай.

Никанор кивает на Ивана Осипыча, который копошится в это время в грядках, и спрашивает:

— Сказывал ли он тебе, что уезжает?

— Говорил.

— Надумал на старости лет. Положит свои кости на дороге — вот помяни мое слово. Раз года ушли, так ничего не сделаешь. Природа уж так устроена.

Говорит Никанор прерывисто и грустно, в голосе его скорбь и отчаяние. Боится он отпускать старика в такую трудную и далекую дорогу, а страшнее всего ему проводить лето и давать голове «роздых» одному; суп варить не для кого, с удочками сидеть — одному, за грибами — одному, на охоту — один.

— С отцом ты ругаешься? — бурчит Никанор.

— Не из-за чего.

— Се-таки, тебе наверно там беспокойно.

— Это, пожалуй, да.

— Ты переходи ко мне жить-то... Тут тебе покой и хорошее варево. Я, брат, сварю — куфарке так не сварить. Жисть тебе тут будет — мое почтение. А мне это дорого — однако около меня живой человек. И фотой ты тут можешь баловаться на просторе — темный чулан у нас есть и всякие приспособления. К тому же семейство отцово ты стеснять не будешь. Какой на это резон дашь? Придешь, што ли?

— Приду.

— Вот и ладно. Это мы с Иваном Осипычем обдумали.

Макар со Степой Фениным ездили в город и купили спортивных принадлежностей: два футбольных мяча, несколько десятков маек, беленого миткалю на трусики, крокет. Все.

— Дальше, — рассказывал Степа Фенин, — Макар решительно и строго заявил, что большего расхода он себе позволить не может.

Мы полторы недели по вечерам тренировались и потом в воскресенье, разделившись на две команды, устроили состязание. Вокруг поля — толпы глядельщиков. Играем за околицей на покатом поле. Недалеко засохла на солнышке старая Андронова мельница, немощно растопырив крылья. Вот мяч запорхал в воздухе, огрел неловкого хавбека Тереху Ванина в брюхо и с чьей-то здоровенной ноги резнулся в мельничное крыло и отлетел неловко назад в траву. Мельник Андрон бежит, орудуя кулаками и извергая для острастки ребят все знакомые ругательства.

— Вы, эдак, чортовы ведмеди, мельницу сшибете. Вить этакой корчагой можно дом разнести. Я вам играть здесь не дозволю.

Костя Чуев, играющий центра, вступает в препирательство.

— Что твоей мельнице сделается? Не сшибем, не бойсь, ведь мяч мягкий — отскочит. Вот нашему голкиперу Ваське Тюрину в нос замазали и то вытерпел, — так он не мельница.

— И ловкач же этот Егорка, завсегда первый кольнет!

— Далеко им всем до Игната — порскнет, так уж порскнет!

— Степка зато бегает всех шибче.

— В воротах одному неподручно, не схватишь каждый-то раз...

Футболисты ворчат между собой:

— Зева чортова, мяч головой отшибают, а не носом. Учись! Что, больно?

— Ага, рукой... Бей штрафного.

— Я ненароком.

— А ты рукой не хватайся, а только толкайся... Закону не знаешь.

Дедушка Андрон все размахивает руками и ругается. Вокруг него собрались мужики.

— Не мешай нам, деду, не расстраивай нас! — кричит на Андрона Курников.

Макар единственный из взрослых в селе человек, видавший несколько раз в городе игру в футбол, в новой белой рубашке в синюю полоску без пояса, чтобы продувало, бегает по полю со свистком. Он — судья.

Костя Чуев стремительно ведет мяч к воротам, но натыкается на Тереху Ванина из неприятельской команды. Терентий из всей силы ударяет левой, и мяч летит далеко за черту поля к моему дяде Трофиму, известному на селе здоровяку.

Ему ребята кричат:

— Подкольни, дядя Трофим!

Дядя подошел к мячу — уж, дескать, и звездану, покажу молодым, где сила-то, да как надо ударять крепко! Остановился на секунду, чтобы собраться с силами и, тряхнув бородой, занес ногу, да как изо всей силы ногой вильнет!.. Только с непривычки в мяч не попал, а четверти на две около... в землю. Большой ком земли вылетел. Громко хрустнул большой палец. Мяч — ни с места. Поднял Трофим Семеныч ногу и с

воем ухватился за вывихнутый палец. Потом опустился на землю и завертелся волчком на одном месте. Сначала все испугались, а потом захохотали.

Я стою, прислонившись к штанге, и смотрю на гуляющую публику. Мне хочется увидеть Анку. Видеть ее как можно чаще — теперь моя непреодолимая потребность. Вижу — она с тремя подружками сидит на лужайке. Наши взгляды встречаются, она мне улыбается и кивает взглядом и головой в сторону. Я смотрю туда и вдруг чувствую себя неожиданно пораженным: Петр Зароков — он даже сад теперь перестал посещать — разгуливает под ручку с Евгенией Чаевой. Она кокетничает, любовно вскидывает на него свои большие синие глаза и рассыпает сочный смешок. Петр крепко прижался плечом к ее дородному плечу и по показному водит ее особенно мимо Анки, дескать, — глядите, какой у меня успех, любуйтесь, как меня ценят и любят.

«Эх, и самолюбивый же ты, Петр, и хвастливый», — думаю я, провожая глазами эту парочку.

Вон дядя Трофим побрел к селу, ступая больной ногой только на пятку, к фельдшеру, править палец.

Я вглядываюсь в Петра при каждом удобном случае, я почти слежу за ним, и у меня болит душа. Ходит он такой сумрачный, сердитый и вялый. Я знаю— эта вялость в его могучем теле от горечи измены, от большой, заполнившей его дух обиды или тяжелой мысли. Я хотел бы стать его другом, помочь ему своими знаниями, развеселить своей жизнерадостностью, но это невозможно. Он ненавидит меня, вероятно, так же крепко, как Чаев Макара и кооператив. Причины для злобы на меня у него, действительно, основательные. Мой приезд свалился на него бедствием. Но чем-либо пожертвовать для того, чтобы улучшить наши отношения, я не могу. Отказаться от работы в правлении я не могу по личным материальным мотивам, не имею права с общественной точки зрения, так как грамотнее его и смелее. И потом я не виноват, что ко мне переметнулась Анка. Я хоть фигурой и мельче и тощее Петра, и силы у меня меньше, но зато я умею носить галстуки, чищу зубы, рассказываю ей о городах, об учебе, о пестрой человеческой жизни, подбираю ей для чтения книги и разъясняю их. Выхо-

да я не нахожу, и мы с Петрухой остаемся врагами. А сельчане к тому же еще разжигают его злобу.

— Петух, — кричит кто-нибудь Зарокову. — Петух, гляди-ка, как Васька Анюту обхаживает!

— Петух, гляди-ка — в копну зарылись!

— Эх, ты, — такую девку упустил!

Петр отвечает ругательствами, шутками, отмалчивается, но окружающие шутки ради продолжают изводить его. Поговорить часто бывает не о чем, пошутить лучше не умеют — пристали к парню и толкут языками одно и то же.

И вот в один жаркий солнечный день к вечеру прибегает на луг, где убирали сено, восемнадцатилетняя сестра Петра — Груня. Грохнулась девка на луг и еле выдавила слова:

— Пе-етя-ха наш утопился.

Бросился народ с луга к берегу. На лодке, что стояла в омуте, лежали кепка и ботинки Петра, а на песке сучком ивы было написано: «До свидание. Не хочу жить без Анны, оттого и кинулся в реку. П. Зароков».

Побежали в село за неводом, за баграми. Многоводна в этот год была сплавная река, так что в некоторых местах дна не могли достать баграми.

— Веселые люди, — говорил прибежавший фельдшер, — чаще и легче кончают с собой, нежели мрачные.

— У нас на деникинском, — сказал Степан Пафнутьев, — как хватит снарядом — так восемь человек и положило!

Старухи, чтобы определить, где лежит труп, пустили по воде горшок с горящим ладаном. По их мнению, он должен был остановиться над трупом, но горшок болтался на воде, не зная куда двинуться.

Анна стояла среди подруг и дрожала нервной дрожью. Ее красивое загорелое лицо было бледно и стыло, а ласковые светлые глаза испуганно ширились. Все винили только ее. Мать Петра билась на руках сердобольных баб и кричала на Анку:

— Все из-за тебя, шкура!.. Не шаталось тебе с парнем.

Ловили до самого вечера. Разошлись, когда уже пришло стадо и по цветущим ржам приплыли из-за леса сумерки.

Когда же в деревне грустил палевый вечер, а крестьяне, усталые и взволнованные происшествием, пили чай и ужинали, на сельской улице появилось привидение... Шевельнулись в душах поселян древние дедовские суеверия, пробежал холодок по коже, затопорщились на голове волосы.

Петр шел по деревне и весело скалил зубы. Смельчак Степан Пафнутьев, проживший семь лет на царской и гражданской войнах, робко спросил:

— Петруха, это ты?

— Видишь...

— Как же это?

— Нет ли закурить?

— Ты ведь утоп...

— Надоело на дне лежать.

Вокруг них в две минуты расцвела громадная толпа.

— Где ты был?

— А я лежал на том берегу, жарился на солнышке и смотрел, как меня ловили.

Раздалось сразу несколько голосов:

— Так что же ты, чорт, делаешь?

— Мы, вить, целый день тебя ловили. Сено из-за тебя осталось неубранным.

— Анку-то мы изругали.

— Мать твоя изревелась. Что же это ты над нами измываешься?

— А вы зачем надо мной насмехались? Вот за это самое я вас и достал. Тут я вас и подкузьмил.

— Разве этим шутят, дуролом?

— Вот дурак — что придумал!

— Это я книжку читал... Драма называется «Живой труп». Вот я живой труп и устроил, чтобы языки меньше чесали.

— Экой прокурат.

— А мы уж думали, ты дно реки паяешь.

— Нет, мне жизнь не надоела. Пожить мне, братцы, охота. И бабу я себе нашел получше вертячки Анютки.

Несколько дней село только и разговаривало о проделке Петра. В глазах сельских озорников и кулацких сынков он стал героем.

— Вот так голова! Надо же так придумать!

— Да уж нашим башкам так не смекнуть.

— К его бы голове да собачьи ноги.

Мужики качали головами и говорили отцу Петра:

— Ты жени сына-то, а то вишь, как балует.

— Вот осенью женю.

Обсуждая этот поступок Петра, бюро комсомольской ячейки постановило:

«Петра Зарокова, каковой подорвал авторитет комсомола в селе Сурень, исключить за обман зрения у всего села, о чем известить райком».

Курников как-то забежал к нему в лавку и спросил насмешливо:

— Что это ты, родной, придумал?

— А тебе что за дело? Это дело к кооперативу не относится.

— Тебе в голову-то не каши ли наклали?

— Сами-то вы с Васькой Тюриным хороши... Еще поглядим, у кого в голове больше! — дерзко ответил Макару Зароков.

Наступила страдная пора. Вечера стали мохнатее и глуше, но сад попрежнему посещался очень охотно. Молодежь, уставшая за день, по ведреным вечерам приходила часок-другой погулять в саду. Только вот спектакли готовить стало совсем некогда. Во время репетиции актеры, дожидавшиеся своих выступлений, засыпали, а потом — разбуженные, в сонной одури несли невразумительную околесицу. Пришлось временно театральную работу отложить. А по воскресеньям спектакли были очень нужны. Тогда в замену на одно из воскресений Костя Чуев нашел где-то циркачей с такой программой: 1. Король Теней. 2. Босое хождение по битому стеклу. 3. Нагое лежание на вострых гвоздях. 4. Помогите проезжающим артистам. 5. Ина — женщина-резина. 6. Всевозможные частушки под баян в исполнении поэта Курочкина. 7. Пение по нотам. 8. Поднятие восьми человек физкультурником Гурвейс. 9. Спешите купить билеты.

Несмотря на такую неуклюжую и смехотворную афишу, этот вечер оказался очень интересным для нашего глухого, ничего не видевшего села; циркачи, их было трое, действительно, кое-что могли показать и спеть. Разговору о них потом хватило на всю неделю.

Сад в часы досуга и в праздники наполнялся смехом, стрекотанием гармошек, песнями... В саду де-

вушки играли в баскетбол, в крокет; ребята пыхтели на кольцах, на турнике, читали свежие газеты и беседовали, попыхивая махоркой. Все собрания, совещания устраивались в саду. Даже митинги и сходы с городскими докладчиками проводились здесь. Дни проходили нарядные и содержательные, заполненные работой и веселыми занятными часами досуга в саду. Церковный хор больше не оглашал своим нытьем вечернее село — развалился, а в музыкальном кружке обучались только дети сельских богатеев и духовных особ.

Все это вдохновляло и радовало.

Но зато в кооперативе дела почему-то пошли плохие. Чаев осмелел, каким-то таинственным образом изловчился и валил нашу кооперацию под ножку; у него появилось много ходовых крестьянских товаров в долг до нового урожая, но торговец кредитовал только наиболее зажиточных и прилежных в церкви мужиков, в которых был уверен, что они отдадут; бедняков гнал от лавки:

— Катись к Макарке... Он меня богате. Али в своей-то кооперации, за свои паи, да ничего и не дают? Вон Пчелкин папироску задымил, а у тебя махры нет. а домой придешь, кипяточку похлебай, — издевался он над кооперированными мужиками.

В пять часов Петр кончал торговлю и приносил жалкую выручку. Я каждый день видел, как Курников, принимая выручку за день, вдвое меньшую, нежели в былое время, как бы вздрагивал и волновался. Он испытующим взглядом в упор смотрел в глаза Петру и спрашивал:

— Почему мало?

Петр, насупив брови, отвечал:

— Сам знаешь — время такое безденежное, никто не идет покупать.

— А почему же прошлый год в это время шли?

— Ну, я помню — тоже неважнецки торговали. Время уж это такое!

После таких разговоров Петр уходил, а Курников вздыхал и говорил:

— Чаев нас совсем закатил. Что-то у меня душа не спокойна, — никогда в кооперативе такой скушной торговли не бывало.

Мне в селе уже несколько раз передавали, что Петр при каждом удобном случае ведет злорадные и хвастливые разговоры.

— Как у меня работа была поставлена, так дела в кооперативе шли как по маслу... А от этого олуха Тюрина ждать работы не приходится, потому как у него голова не тем занята. Он около девичьего подола крутится, да стишки сочиняет, а кооперация ему только деньги плати. Вот поглядите — он проходимец, стибрит денежку с коньком, да и улизнет, и вы следов его не найдете.

Крестьяне косо и угрюмо смотрели на меня, когда я встречался с ними, прогуливаясь с Анкой по луговому берегу Сурени или отправляясь в компании с Никанором (это было обыкновенно рано утром) на охоту. Дело дошло до того, что меня вызвал к себе Степа Фенин и совершенно официально заявил:

— На тебя, товарищ Тюрин, поклепы имеются, что ты не стараешься в работе... Торговля кооператива явно завалилась, а частник растет. Этот вопрос надо разобрать... Ты расскажи все по душе — может, это из-за тебя, как про это распространяется Зароков?

Я рассказал Степе, что стараюсь изо всех сил и выполняю всю свою работу аккуратно. Кроме того, у нас определенное затоваривание—мало берут, и товары лежат на складе и пылятся, и потому работы у меня очень мало. Отчего покачнулись дела, я силюсь догадаться, но пока ни к какому результату не прихожу.

Мы поговорили и пришли к выводу, что дела плохи из-за страдного и безденежного времени — вот снимут урожай, сколотят деньжонок и торговля опять оживет. Что же касается поклепов Петра, — так это вполне понятно — он парень озорной, малоразвитой и честолюбивый — треплется по злобе из-за понижения в должности и из-за анкиной измены.

Как-то в одно из воскресений я путался с фотографическим аппаратом на берегу реки — снимал Анку с охапкой цветов в лодке, и Никанора с удочками и увидел — недалеко по угору поднимался к селу Макар; я обрадованно, неистово закричал ему:

— Иди сюда! Иди! Сниму. Давно я тебя собираюсь запечатлеть. Иди!

Макар подошел. Лицо у него после купанья свежее, ясное. Он здоровается за руку со мной, с Анкой, с Никанором и говорит с недовольством в голосе:

— Картинки все у тебя на уме. Прокартинимся мы с тобой скоро.

— В чем же дело тут? — вспыхиваю я. — Надо же в конце концов дознаться, в каком месте сломалось?

Макар садится на лужайку и задумчиво говорит:

— С виду поглядишь, — большой беды и не видно, а болит у меня душа. Какая-то ямка для нас выкопана. Не бывало еще у меня такого беспокойства.

— Ты, Макар Иваныч, наверно, много думаешь об этом и к каким-нибудь догадкам приходишь? — задушевно спрашиваю я его.

— Рука у тебя, надо быть, тяжелая, — у Петрухи была, по-моему, легче рука.

— Макар, да ведь это суеверие, — возмущаюсь я, — не ожидал я таких слов от тебя. Самый новый человек в селе, и вдруг у тебя такие бредни в голове. Что же, я могу уйти — возьми на мое место легкую руку.

Курников стыдится и запальчиво говорит:

— Тут и не до суеверий дойдешь... Я ночи не сплю, у меня голова кругом идет. Не спал сегодня трех часов... Вот теперь искупался, освежился, и легче стало.

Аня, Никанор и я грустно молчим. Чтобы прервать это тягостное молчание, Курников напускает на себя веселость и натянуто смеется.

— Ну, ладно, после разберемся. Снимай меня в двух видах сразу: сидючего и на ногах.

Вскоре в короткой тишине у омута раздается мой голос:

— Снимаю. Прошу застыть.

Нажимаю кончик шнурка фотоаппарата — щелкает диафрагма.

Долго проспав после обеда на сеновале, я поздно, в сумерках, спешу в отзванивающий гармошками и песнями сад. Пробегая мимо дома Чаева, я слышу развеселое пение граммофона. Это обстоятельство меня останавливает и заставляет застыть в жадном порыве

слуха и внимания. Вот граммофон зашипел — кончилась пластинка... Сквозь стук посуды и чужие голоса слышен чей-то знакомый говорок... Да это же голос Петра Зарокова? — шепчутся.

В это время вспоминаются мне злые его наветы на меня, преследование и выживание из села, и я чувствую в себе полное право подойти к окошку, выглядеть, послушать.

— Что же в этом может помешать? Собаки?

Чаев хороший охотник, и у него пара гончих, но гончие—плохие сторожа. Я смело пробиваюсь к окну, на мое счастье граммофон запел длинную вещь «Расцветали в поле цветики», и я не боюсь, что меня заметят по шуршанию шагов. Занавески мешают мне видеть, но я вскоре нахожу просвет. На тумбочке стоит граммофон и заливается нежной песней, на столе вино, варенье, пироги, плюшки и белый фигуристый самовар. Гостей нет. За столом Чаев с супругой и Петр с Евгенией. Она сидит у Петра на коленях. Какие у нее толстые, пухлые руки! Петр пьян, раскис, разомлел, и в этом одурманившем его киселе только блаженно урчит и изредка икает.

— Характер у тебя самостоятельный, и за это я тебя, Петя, полюбил, — объясняет Чаев. — Мы с тобой еще поживем на славу, поделаем делов. Так вот я тебе и говорю — старайся, Петя, старайся, родной. Нынче времена трудные, и без старанья ты ничего не поделаешь. Женю береги и люби, и слушайся. Она у нас воспитана не кое-как, а по всем правилам хорошей жизни.

Я больше ничего не желаю слушать и ухожу. У меня приподнятое настроение, я бреду и насвистываю «Марш Буденного». Душа моя переполнена радостью большой находки и трепетом таинственности, и мне хочется остаться одному. Но в саду меня находит Анка.

— Где ты пропадал?

Я отвожу ее в сторону и тихонько сообщаю:

— Это пока секрет. Никому ни слова. Я нашел худое место кооператива. Чаевы погубили нашего Петрушку Зарокова, притянули его к себе и заставили его совершить растрату. На наши деньги теперь Чаев раздувает торговлю и кладет на обе лопатки кооператив.

— Так как же он может растратить, когда каждый день сдает деньги Курникову? — удивляется Анка.

— Так он же в течение почти полутора месяца дает неверную выручку. Выручает он, например, рублей сорок-пятьдесят, а сдает пятнадцать-двадцать.

На другой день, как только Курников приходит в правление, я здороваюсь с ним и говорю:

— Макар Иваныч, Зарокову надо произвести ревизию, — и рассказываю ему о виденном, подслушанном и о своих предположениях.

Курников точно воскресает; его серые выцветшие глаза загораются надеждой и мужественностью, он становится опять уверенным и торопливым.

Макар выкуривает подряд две папиросы, долго смотрит мне в глаза, потом утвердительно кивает головой и уходит.

Я смотрю на него в окно. Вон его сутулая фигурка на пыльной сельской улице — он идет отыскивать на гумнах, в поле членов ревизионной комиссии. Макар заставил их сегодня же начать ревизию.

Ночью, возвращаясь из сада, я вижу в магазине огонек, смотрю в окно — пять человек — в том числе Зароков и Курников — сгрудились и устало, сосредоточенно подсчитывают. Я не хочу им мешать ни минуты и не захожу в магазин. Утром торопливо пью чай с Никанором и ухожу в правление — нетерпеливо хочется узнать результаты ревизии. Курникова я жду долго. Вижу в окно — Петр идет торговать, потом слышу — брякает замками, отпирает лавку. Разве еще не кончилась ревизия? Читаю свежие газеты и жду Курникова. Он приходит через час — слабый, усталый и крайне унылый. Макар смотрит на меня тусклыми, унылыми глазами.

— Закончили ревизию? — спрашиваю я.

— Закончили.

— Ну и как?

— Все сошлось, гражданин Тюрин, копеечка в копеечку.

Я вскакиваю и кричу:

— Не может быть! Не може-е...

— Сидели до двух часов и растраты не нашли. Нет, уж видно, Чаев изловчился и убивает нас своим умом и своими средствами.

Макар больше ничего не говорит и берется просматривать свежие газеты. Я пробую начать работу, хочу составить очередные сведения в райсоюз, но через несколько минут откладываю бумаги в сторону... Голова моя горит, я беспрестанно ерзаю на стуле и не могу написать ни одной строчки. Все мои планы и предположения провалились. Я скверный и жалкий человек; я подслушивал под окном у Чаевых, я оклеветал безвинного Петра, я не имею авторитета среди крестьянства и из-за меня гибнет кооператив. Курников, конечно, смотрит на меня, как на бездельного, беспечного бродягу и сегодня именует меня ядовито и злобно — гражданином Тюриным. О, о, как, наверное, он покаялся, что связался со мной, как ему, вероятно, хочется освободиться от меня? Я запираю в стол книги и бумаги, нахлобучиваю на голову кепку и ухожу. Курников не спрашивает, как обыкновенно, куда я ухожу, и даже не поднимает на меня взгляда.

— Я сегодня откажусь от работы, — шепчу я, шагая поперек сельской площади, — и меня за это только поблагодарят... А потом узнает все село и меня поднимут на смех за бестолковость и безмозглость. И мне нельзя больше оставаться в селе, а покидать село мне не хочется. Куда я пойду?

И вот уже мои мысли носятся далеко, далеко от Сурени. В городе хожу по редакциям со своими стихами. Мои стихи читают, сопят, красиво хмурят брови и протягивают обратно: «У вас в стихах нет своего лица, своей тематики... При том же каждое хорошее стихотворение должно иметь в себе широкую новую мысль, а у вас не тае... Вы вдохновляетесь от книги, а надо от жизни. Тогда будут крепкие стихи. Вы вот рассказывали, что у вас приличное образование. Идите на фабрику, в деревню, живите там, страдайте, болейте, мучайтесь не книжкой, а настоящей жизнью, и тогда приносите стихи».

Я останавливаюсь где-то далеко за селом, от молниеносно промелькнувшего сознания, что я сейчас погибаю, я чувствую — мои глаза вылезают из орбит...

Невдалеке навстречу мне скрипит воз с ржаными снопами. Я отворачиваюсь и подолом полотняной рубашки вытираю лицо и еще больше нахлобучиваю кепку. За возом идет Степа Фенин. Я рад ему как из-

бавлению от горького холодного одиночества. Мы здороваемся и при этом я не гляжу в его лицо, чтобы не показать своих ослабших глаз, поворачиваю обратно и иду рядом с ним.

— Степан, — говорю я натянуто твердым голосом, — ты не слыхал о ревизии?

— Да-а... Знаю.

— Я сегодня отказываюсь от работы в правлении. Как ты думаешь?

Степа ничего не отвечает. В его молчании я чувствую такой ответ: «А тебе больше ничего не остается сделать, как отказаться».

Скрипит воз, шелестят золотом колосьев снопы. Чувилькает какая-то подорожная пичужка. Молчание наше до крайности тягостно. У меня нет надежды спастись и нет возможности оправдать себя в глазах Степана, мне хочется хоть бы достойно, по-человечески, без унижения пройти с приятелем до села.

Степа сворачивает на свое гумно, а я останавливаюсь, вскидываю руку к козырьку кепки и говорю:

— Ну, так, пошел отказываться.

Степа молчит и не оборачивается.

Когда я иду по площади к кооперативу, под вывалившейся из худой сандалии большой палец левой ноги попадает камешек. Меня потянуло припасть к родной земле, поднять и полюбоваться на этот камешек, а может быть — раз сегодня такой уж чувствительный и важный день — унести его с собой на память о дорогом нынешнем лете. Я встаю на колени и ищу по траве камешек. Но это не камень, а конфетка. Я развертываю выгоревшую на солнце бумажку и апатично, потому что мне инстинктивно хочется оттянуть убийственный для меня отказ от работы и тяжелое, стыдное объяснение с Макаром, читаю: «Карамель народная». Кондитерская фабрика «Красный конфетчик». Москва.

Карамелька засохла, и я с трудом перекусываю ее.

Вдруг глаз мой замечает еще карамельку, потом три, я подползаю к ним и вижу впереди в траве целую дорожку из карамелек по одной, по две, по три... Какой-то покупатель, видно, разинул рот. Я оглядываюсь вокруг в какой-то смутной надежде найти разъяснение, и вдруг вижу — у двери своей лавки стоит Чаев и

смотрит на меня с перекошенным от ненависти лицом. Во всей его фигуре что-то необычно напряженное. В эту минуту меня пронзает неожиданная раскаленная мысль, я вскакиваю, бегу, не помня себя, в правление кооператива. Макар стоит у стены и перелистывает отрывной календарь. Я прижимаюсь к косяку и тяжело дышу. Макар смотрит на меня и спрашивает:

— Что ты?

— А остатки товаров на складе вы проверяли?

— Ясное дело.

— Все в целости?

— Все бочки, все ящики пересчитали. Зачем тебе?

Я ему рассказываю о найденных карамельках и высказываю такое предположение. Петр, подговорив сторожа Петухова, тоже обиженного понижением, украл товары, и конфеты были рассыпаны во время переправы товаров в лавку Чаева.

— Но ведь все проверено, — протестует Курников.

Я его беру за руку и тащу:

— Пойдем еще раз поглядим. Может, действительно, чего-нибудь нехватает. Я сразу увижу — все товары, какие у нас лежат на складе, наперечет знаю...

— Что ж, пойдем. Только ведь ты опять наболтаешь.

Мы приходим в магазин, и Курников небрежно приказывает Зарокову открыть помещение, где лежат товары в запасе. Петр мучительно долго ищет ключи и бросает на меня косые, свирепые взгляды. Наконец, он отпирает, первым входит в помещение и начинает сердито и громко пояснять:

— Это ящики с папиросами, это с махрой... Это три ящика с конфетами, тут в подвальчике, в ледничке, селедка... Это с макаронами... С развесным печением...

Перечисляет он долго.

—Так и должно быть, — говорит Курников и поворачивается уходить.

Я чувствую — у меня подкашиваются ноги, и тяжелая вялость наливается в мое тело. Мне хочется убедиться во втором моем провале, убедиться для того, чтобы больше не выдумывать никаких поклепов на Петра и не строить дурацких предположений, и, сжав сердце, бросить работу в кооперативе и потом уйти из

села. Да, надо убедиться, — и я с силой отрываю доску у ящика с народной карамелью. На минуту застыв в изумлении, оторванной доской я ударяю по ящику и кричу Макару:

— Ящик пусто-ой! Пу-у-с-т-о-ой.::

Курников подходит и пинает ногой пустой ящик. Я отпрыгиваю к бочкам и пробиваю ударом кулака дно— бочка пустая.

Я возвращаюсь обратно — Макар стукает пальцами по ящикам и говорит:

— Пустой... Пустой... и этот пустой.

Я толкаю весь столб ящиков, и они легко рассыпаются с деревянным звоном.

— Что, дружок, попался? — спрашивает Макар.— Что же это ты по кулацкой линии пошел?

Петр стоит бледный, с блуждающими в мучении глазами. На слова Макара он пробует разбойничье усмехнуться, но усмешка выходит кривая, противная и он отвечает:

— Догадались, сволочи! Ну, ваше счастье. Придется отсидеть.

— Беги за ревизионной комиссией, — приказывает мне Макар.

Я выбегаю из кооператива и ныряю в село.

В этот вечер в саду было не по-будничному людно. Комсомольцы сгрудились на сцене.

— Ну, как? Вылез, все-таки?

— Нашел, где лопнуло...

— А кооператив совсем было зачах.

В этих отрывочных фразах, обращенных ко мне, чуется явное ликование, и у меня по лицу невольно расползается широкая улыбка.

— Выкрутился, — облегченно бросаю я в ответ.— Конфетка выручила.., да худая сандалия.

И я подробно рассказываю о засохших конфетах в траве и о результатах осмотра склада.

— Как на кине, — бросает кто-то незаметное сравнение.

Через несколько минут обо мне перестают толковать. Я что? Я — только жертва, сумевшая благодаря счастливой случайности своевременно вывернуться. Все-таки главное лицо этого столкновения — Петр. Принялись выяснять его как человека, как личность.

— Ох, индивидуй же парень, — качает головой Костя Чуев, свертывая цыгарку.—Не хочет быть вместе с нами. И бывало, когда у нас в ячейке был, все ему охота быть везде первее всех да выше, да главнее всех. Нынче летом поснизили его да попризатылили так, видишь ли, он утопление симулировал... А для чего? А чтобы говорили о нем, хвалили и тому подобное. Ох, и нечистый же дух! Пришлось нам сегодня вечером купаться вместе. Вижу — плывет он мимо меня, унылый такой. Я гляжу ему в глаза и говорю: «Что же ты это, а?» Он опустился на ноги. Я говорю: «Что это ты кооператив-то весь кулаку продал и тому подобное». — «Да, понимаешь, влюбился... Уж больно, говорит, баба-то заманчива. А я как, — говорит, — влюблюсь, так лишаюсь рассудка. Я тогда будто сам не свой, а дядин. Из-за любви и...» — «Ты,—я ему отвечаю, — это лучше маленьким рассказывай». Ну, разругались мы и тому подобное.

Все стоят задумчивые, сердитые и как бы единодушно удивляются, как это так — среди них, искренних людей, нашелся человек, который оказался подлецом и перешел к кулакам. Разговор перебрасывается на Чаева, который вызывает всеобщую ненависть.

— Выкурить... Вытряхнуть... Высадить, — говорят ребята.

Итти в село избираются Фенин, Митя Дочкин и Костя Чуев.

А жизнь неторопно, непреклонно идет, и поступь ее чудесна, и ни с чем несравнима. Собирается урожай. Крепко, по-осеннему наливаются девки... Анка поздоровела, накалилась — она все лето в поле, на гумне, в саду, в свободное время на огороде с книжкой. Она сильнее меня, и мы с ней в шутку боремся, так она не остается победительницей только из-за смеха, обессиливавшего ее... Горланят и хорохорятся парни. Березы одели на себя тонкие золотые сережки. В поле тянется, как мужицкая мысль, паутинка. Мне в эти дни хочется сложить роскошный, чарующий гимн жизни и будущему, но выходят прозрачные и легковесные стихи, каких написано тысячи, и я рву их. Но все-таки... этот гимн будет мной написан — я чувствую в своей душе чудесное очарование его налива.

Между прочим, приказчиком у нас теперь Костя

Чуев, а сторожем старик Дорофеев. Костя расхаживает теперь за прилавком, меряет лоскут и прикрикивает на баб: не шумите, — и тому подобное! А Макар ожил. О, как бы нужны Макару крылья! Он то и дело ездит в город, пропадает в районном селе и целыми днями крутится по селу — организует колхоз.

Сегодня праздник. Я сижу на скамейке у школы и многое перебираю в памяти. Иван Осипыч прислал бодрое письмо, — пишет, что к началу учебного года вернется в школу.

В глубоком синем небе бродит, как заплутавшийся ребенок, маленькое белесое облачко. В душе у меня спокойствие и сила: хорошо мужаться, дерзать в борьбе, в общественной работе.

...Вечером мы гуляем с Анкой по селу, потом идем в сад. Все та же вековечная сельская тишина, переливы гармошки, редкое тявканье собак, стрекотание кузнечиков. Природа застыла в своем однообразии, и это в дни коренной переделки жизни ощущается особенно остро. Посередине села встречается Петр. Он едет на лошади своего отца, видимо из районного села. Я слежу за ним; мне важно знать — домой он проедет или завернет к Чаеву. Вот он завернул к Чаеву. Я оставляю Анку и пробираюсь к дому Чаева. Я прячусь за кустом акации, под окном. Чаев в чистой, белой косоворотке, холеная борода тщательно расчесана, сидит за шахматной доской и решает задачи из шахматного отдела газеты. В следующей комнате урчит самовар и звякает посуда. В доме покоятся чистота и прибранность. Евгения ходит из кухни в комнаты и обратно и игриво напевает:

Сердце красавицы
Склонно к измене
И к перемене,
Как ветер мая...

— Ишь, чего еще ты знаешь, — говорю я про себя и забавляюсь долгой ухмылочкой.

Петр наскоро привязывает лошадь и вбегает в дом. Я пробираюсь к своему окну. Чаев тревожно вскакивает ему на встречу и говорит укоризненно:

— Ну что ты запропал? Я устал от ожидания. Рассказывай скорее, — как дела?

У Петра лицо пыльное, расстроенное... Говорить ему не хочется, и не от усталости, а от тяжести на сердце.

— Да говори же! — кричит на него от нетерпения и от гибельного предчувствия Чаев. — Что ты заткнулся!

...И влюблены, и влюблены-ы
Мы только искренне в себя...

Отец вздрагивает от нахлынувшего раздражения и огрызается на дочь:

— Брось ты там орать!

Наступает тишина. Только урчит самовар.

— Сматывай все свое хозяйство! — брякает Петр.

Чаева передернуло:

— Что это?

— В рике постановлено тебя ликвидировать. Все имущество у тебя отберут, а тебя в Сибирь... в тайгу.

Чаев ухватился руками за голову и рухнул на стул.

— А это ты верно узнал?

— Зря пугать не буду.

— Подайте сюда чаю! — скрипуче приказывает он в пугливую тишину комнат.

Евгения — веселость ее исчезла, лицо у нее надутое, угол рта вздрагивает — вносит трепещущий самовар, потом быстро ставит пироги, варенья.

— А когда меня арестуют? — спрашивает Чаев Петра.

— Наверно, завтра.

Чаев ерзает на стуле, роняет локтем чайную ложку и быстро поднимает ее.

Он пробует налить стаканы, но неожиданно, даже для самого себя, бросает и говорит Петру:

— Наливай сам!

Потом он трет рукою лоб и думает вслух:

— Сегодня же ночью надо все ценное вывезти.

Меня сразу же обжигает догадка, и я отхожу от окна.

Слышна песня девушек из сада. Заря совсем утонула в синечерном болоте ночи. Я спешу в сад совещаться с ребятами. Эту ночь нам не придется спать.

Ясенево—Кинешма, 1929 г.

С. Огурцов

АВДОТЬЯ ЕГОРЬЕВНА

Говорите:
Старость — тлен!
А я скажу другое:
В огне великих перемен
В ней веет солнце молодое.
Бывает:
Вспыхнувшая искра
Живым огнем воспламенится,
И если сердце к солнцу близко,
Оно восторгом будет биться.

* * *

Такая простая,
    Платочек ситцевый,
В глазах — незабудковый цвет,
Но юностью, юностью литься ей
На склоне
        седых
            лет.
Все-то тужит Авдотья Егорьевна,—
Не о прошлом:
Прошлое — нож!..
— Было жизни-то целое море мне.
Думала:
Не перейдешь...
Сколько слез-то,
Печалей-то сколько
(Хмурых мук — отзвеневший путь)!..
Вспомнишь только —
Слезы,

Жуть.
А теперь-то, теперь-то,
Родные,
Не о чем мне тужить,
Хочется, милые, ноне мне
По-новому
Жить.
Думать о новом
Не поздно ведь,
Хоть и много
На плечах
Лет,—
Жизнь-то ведь — соки медовые,
Жизнь-то — маковый цвет.
...Сердце старое, старое
Зацвело весной:
— Ах, уж не сила ль бывалая
Со мной?
— На фабрике целая жизнь,
Попробуй,
Попытай-ка!
Тужиль, тужиль,
Отвяжись!
Я теперича —
Молодайка.
    О чем ей плакать?
    О чем грустить,
    Если новое
    Солнцем спеет?
    Знаю:
    На ее пути
    Иная жизнь голубеет.
Бабушка, бабушка Авдотья!
Но она говорит:
        — Вот я
Скоро буду большевичкой...

В черный день в заводское раздолье
Умер Ленин! —
Стоном протекло...
Хмурый ветер плакал не с того ли
И звенел в Авдотьино стекло?..

И когда в березовых макушках
Воробьиный гомон прозвенел,
Горько, горько плакала старушка
О кумачной, ленинской весне.
Когда загорится в окне
Спелый закат сиреневый,
Вижу:
        На стене
Картинку с Лениным.
Зорями даль разузорена.
Весна...
Воробьи кричат...
Глядит Авдотья Егорьевна
Кротко
На Ильича.

Гудковые всполохи пылали,
Разливаясь в звонкие ручьи,—
На партийное собранье собирались
Синеблузники — суровые ткачи.
   И веселым гудком зачарованный
   Вечер плавал по макушкам труб.
   Ковыляла
   Авдотья Егорьевна
В клуб.
Смотрит:
Милые, родные лица,—
С ними жизнь ведь целая слита,
Пронеслись живою вереницей
Прошлых дней поющие ветра.
Говорила Авдотья Егорьевна:
— Ильича-то? Не знать-то как?
Раз рассеял он горькое горе мне,
Мрак.
Человек был просто — золото,
Каждое сердце
                    умел
                        согреть,—
Как же, как же такого-то
Мне
Не жалеть.
Знаю, родные, знаю я:
Немного осталось жить,

Но хочу научиться знанию,
Хочу коммунисткой быть!

. . . .

И вот собранье забурлило:
— Принять!
— Принять ее!
— Принять!!!
И в сердце солнечная сила
Горела, юностью звеня.
И снова:
— Ишь, как голосисты!
И как отрадно ноне мне!
И взоры старой коммунистки
Смеялись мировой весне.

1924 г.

ВЕСНА В КОРПУСАХ

Я сегодня заметил тайком,
Что в глазах у ткачихи написано:
Загрустила она за станком
О приморской весне кипарисовой...

Черноморский ей грезится путь,
Стал ей корпус взволнованный тесен;
Надрывается Марьина грудь
Под машинные всполохи песен.

И вскипает машинная звень.
Словно синь созревающим хлебом;
В корпус голубем просится день,
Распахнув всем доступное небо.

Будет отдых в краю голубом,
Где цветные горят побережья,
Где звенят кипарисовым днем
Сбереженные в сердце надежды.

Я сегодня заметил тайком
То, что в сердце ткачихи написано:
Вспоминает она за станком
О приморской весне кипарисовой...

Виноградный ей снится восход,
И прибой взбаламученный снится...
А машина поет и поет
И колышется радугой ситца.

В белых ландышах свежий кумач,
Потолки — облака в поднебесьи,
И в машине грохочут грома —
Ранних гроз разливанные песни.

Улыбается ярко она
И кричит в гул машинный соседу:
— «Наступает и наша весна!..
На курорт я весною поеду».

Марья! Марья! понятно ль тебе:
Все твое — и дворцы и палаты,
Все, что добыто в трудной борьбе,
Что руками победными взято.

1929 г.

Д. Семеновский

ИВАНОВО

За вечерней голубой морокой
Бусами желтеют фонари.
Побледнел над улицей широкой
Ситец доцветающей зари.

Вот он, город корпусов текстильных
И высоких красноствольных труб.
На руках заботливых и сильных
Вынянчил его могучий труд.

Я гляжу на каменные ульи
Полных медом света корпусов.
Милый друг, в стальном машинном гуле
Слышен нам труда бодрящий зов.

Там, в цехах, где белою порошей
За холстами стелятся холсты,
Ты улыбкой светишься хорошей,
Подвиг свой творишь с любовью ты.

За вечерней тонкой поволокой,
За воздушной дымкой голубой
Трубы встали рощею высокой,
Корпуса грохочут, как прибой.

Корпуса грохочут. Это ткется
Новых дней узорная парча.
Корпуса грохочут. Это бьется
Сердце города-ткача.

1931 г.

ЮРЬЕВЕЦ

I

Поднимись по тропинке на темя высокой горы,
Встань у края обрыва
И взгляни, как за Волгой лугов разлетелись ковры,
Как лесная раскинулась грива.

И мечтой улетая туда, где туманы легли —
К полным тайны и сумрака борам, —
Ты вздохни всей громадой воды и цветущей земли
Всем великим простором.

Ты поймешь, отчего здесь народ так могуч и красив,
Как нагорные сосны красивы,
Отчего здесь и песни безбрежны, как Волга в разлив,
И людские порывы.

Если б крылья тебе, вольной чайкой помчалась бы ты
В эти синие дали.
Лес такой васильковый, раздолье такой широты
Лишь во сне мы видали.

Веет ветер медвяный из синей далекой страны,
Машут лапами сосны.
И звенят наши души, как две однозвучных струны,
Под лесной разговор стоголосый.

II

А внизу, пред подножием глинисто-рыжих холмов,
Полон бодрого гула,
Расстилается Юрьевец лентой садов и домов,
Унжа к Волге прильнула.

О, каких эта ширь не навеет видений и дум!
Вспомнишь древние были.
Вот по этим тропинкам ступал протопоп Аввакум,
Здесь и меч и пожары народную силу губили.

Здесь, раздев бедняка, разживались казною купцы,
Бурлаки, надрываясь, тянули баржей караваны.
Та пора отошла. Заживают былого рубцы,
Закрываются прежние раны.

Посмотри: из прохладно-зеленой лесной темноты,
Из разбуженных недр захолустья,
Быстроходная Унжа несет смоляные плоты
На раздолье веселого устья.

Лесопилка-оса над поволжской звенит шириной,
И скликают рабочих заводы.
Не княжой, не купеческий, новый, иной
Город смотрится в светлые воды.

Голубые дворцы пароходов плывут по реке,
Веют флаги, так празднично-ярки.
Крылья чаек блестят. Быстрый катер бежит налегке,
Тихо тянутся грузные барки.

А когда от заката зардеют края облаков
И тепло озарятся крутые откосы,
Как торжественно песни густых пароходных гудков
Оглашают притихшие плесы!

Мотыльками трепещут огни в подступающей мгле,
Потемнела верхушка далекого стога,
И дрожит от луны на речном переливном стекле
Золотая дорога.

1937 г.

ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ

„Наш городок—Москвы уголок".
Поговорка.

Перед утром, синим мраком кроясь
И будя железо чутких рельс,
Первый в городе трамвайный поезд
Совершает первый, пробный рейс.

Тихим заснеженным коридором
Улица заснувшая легла.
Мчится он лучистым метеором,
И трепещет, вздрагивая, мгла.

И дивится домик трехоконный,
Утонувший по пояс в снегу,

На разрывы молнии зеленой,
На фонарь пунцовый, на дугу.

Вот, держась за поручни, с трамвая
Сходит самый первый пассажир.
Он сейчас из сказочного края
Возвращается в привычный мир.

Смотрит он кругом, не узнавая
Улиц в предрассветной темноте,
Словно здесь, у гулких рельс трамвая,
И дома и тумбы уж не те.

Словно с ней, зарницей этой синей,
В лад хвалебным голосам молвы,
Весь рабочий город наш отныне
Стал и вправду уголком Москвы.

1932 г.

ТКАЧИ

В окнах фабрик-дворцов уж блестят огоньки.
Тих и сумрачен час предрассветный.
Вот протяжно скликают рабочих гудки
Ткать отчизне убор многоцветный.
Бодро люди спешат в синей утренней мгле
На призывы фабричных предместий.
Труд свободных людей на свободной земле —
Дело доблести, славы и чести.

Были годы без песен, цветов и лучей.
День и ночь по цехам-казематам
Ткали толпы голодных угрюмых ткачей
Счастье праздным и роскошь богатым.
Никогда, никогда не вернутся назад
Эти годы народных страданий.
Наша доля светла, как девичий наряд,
Весела, как рисунок на ткани.

На колхозных полях колыхается лен,
Спелый хлопок блестит-серебрится.
Мы наткем кумача для победных знамен.

Мы наткем разноцветного ситца.
Будет ситец нарядный, как поле, цвести,
Улыбаться, как май синеокий.
Будут наши знамена к победам вести,
Звать героев на подвиг высокий.

1935 г.

САД

Отрывки из поэмы

I

Пригожи вы, расцветшие поля,
И трогательны красотой непрочной,
Лежит на вас, морозами паля,
Железный ветер из страны полночной.
Какой тебя, продрогшая земля,
Согреть весной неслыханной, бессрочной?
Мы пылом человеческим своим
Тебя согреем и обогатим.

Природа, в яром хаосе творенья
Увлечена пристрастием слепым,
Весь гений свой, всю силу вдохновенья
Ты отдала тем странам голубым,
Где только нежит ветра дуновенье,
Где сад не знает наших лютых зим.
Там черной почвы могутные недра
Плодов богатство рассыпают щедро.

Пустыню сделать садом! Залучить
В страну морозов южные побеги!
Пусть не боятся снега! Приручить
Балованных детей полдневной неги,
К чужой и жесткой почве приучить
И к вашим стужам, вешние ночлеги,
Когда земля звонка, когда она
Вся инеем крутым посолена!

И в тех местах, где с визгом мчится вьюга,
Где космами она поля метет,

Наклонятся сады под ношей юга,
Переселенцем Крым сюда придет.
Бессмертен подвиг, велика заслуга —
В снега продвинуть юг! И счастлив тот,
Чья маленькая жизнь до тла сгорела
На праздничном костре большого дела!

И вот Венцов, любитель-садовод,
Как в поисках таинственного клада,
Прилежно роет землю каждый год,
Воспитывает лозы винограда, —
И прежний захудалый огород
Шумит ветвями молодого сада.
Шумит у стен фабричных, в дымной мгле,
На северной, на пепельной земле.

Весной в саду стоит веселый шопот.
Кусты — в соку и ветки их — в цвету.
Успех не сразу и не даром добыт,
Достался он в бессонницах, в поту.
Венцов искал, накапливая опыт,
Читал, избрав любимой книгу ту,
Листы которой — это листья лета
И лепестки весеннего расцвета.

Он шел враждебным силам вопреки
И обуздал стихий противоборство, —
Под натиском настойчивой руки
Сломилось глины скаредной упорство.
Как мотыльки, трепещут лепестки,
Взлелеянные грудью почвы черствой,
Усильями труда пробуждена,
Счастливой стала матерью она.

И кто попал в зеленый сад Венцова,
Тому все время кажется, что здесь,
Где лето — кратко, а зима — сурова,
Какое-то второе солнце есть.
Иначе как бы майская обнова
Могла на этих южных ветках цвесть?
То человека творческая сила
Бутоны их согрела и раскрыла.

Немолод он, искусный садовод,
Носитель этой силы животворной.

Морщин дорожки. Крепко сжатый рот —
Примета воли твердой и упорной.
Вот он большие ножницы берет
Рукой широкой, от загара черной.
Но в сад приходят люди: — Допусти
Полюбоваться на твои кусты!

И Федор Аникеич без отказа
Ведет гостей среди терновых бус.
Котенок смотрит со скамьи вполглаза.
Готов взорваться вызревший арбуз.
— Вот там — цветы... из Крыма, с гор
Кавказа.
Тут — виноград. И вид неплох, и вкус.
Растет спартанцем: не в тепличной холе,
Зимой и летом все на вольной воле.

Как ягоды черемух и рябин,
Здесь фиолетовая зреет слива...
Поражены пришельцы. Вот один
Снял свой картуз. Бела густая грива.
Глядите все: он дожил до седин,
А не видал нигде такого дива.
— Скажи, сынок, скажи — не потаи,
Как ты посадки вырастил свои?..

Венцов глядит спокойно и открыто,
Лукавить он не ловок, не горазд.
Да, чем победа жизни здесь добыта?
Сейчас он им ответ правдивый даст.
Вот тут, в земле, его любовь зарыта,
Его душа легла под этот пласт.
Она трепещет бабочкой цветочной
И в руки грушей отдается сочной!..

Его худое темное лицо
Похорошело. Жесткая прохлада
Сквозное обнимает деревцо
Сжигающим дыханьем листопада.
Садятся перед садом на крыльцо.
Ядрен и густ осенний запах сада,
А солнце грузным вызревшим плодом
Тихонько никнет за соседний дом.

Чуть внятно шепчет сад-родоначальник
Других таких же, как и он, садов,
Таких же, как и он, необычайных
В глухом краю снегов и холодов.
Он шелестит, что средь полей печальных
Рассыплются сокровища плодов,
И север неприветливый, холодный
Страною обернется плодородной

II

Сугробом пахнет от арбуза. Густо
Его нутро пурпурное горит.
— Ивановский, а как созрел... до хруста! —
Захожий гость с восторгом говорит.
Синеет небо, холодно и пусто.
Венцов пришельцам семена дарит.
И раздает садовые отводки:
— Несите их в поселки и слободки!

Он — не колдун, Венцов... не чародей.
В нем лишь дрожат того огня отсветы,
Что делает и маленьких людей
Великими. Тот луч найдешь в себе ты,
Им зажжены на родине моей
Учительницы, пахари, поэты, —
И о лице, что им освещено,
Мы говорим: — Как хорошо оно!

Он — человек, навеки одержимый
Мечтой соткать земле такой наряд,
Какой дарят лишь девушке любимой,
В придачу к сердцу трепетно дарят.
Украсить край, метелями гонимый,
Тот край, где льды так холодно горят.
Согреть его, как греют руки милой
В промозглый вечер осени унылой.

О, не напрасен этот страстный жар
Упорных человеческих стремлений —
Согреть земли обледенелый шар,
Зажечь его для розовых цветений!
И что еще прекрасней в нас, чем дар

Лучиться силой творческой весенней
И оживлять бесплодные пески,
И раскрывать на ветках лепестки?

Проходят годы. Люди умирают,
А человек бессмертен. Он во льдах,
В песках пустынь упорно пролагает
Свои пути, — и на его следах
Цветы встают, колосья вырастают,
Сады в тяжелых клонятся плодах.
И, как весна за сумраком ненастья,
За далью дней сквозит цветенье счастья.

1933—1934 гг.

ВОЛГА

Волга — шелковые косы,
Полногрудая волна,
Рукава притоков, плесы,
Голубая ширина!
Вся в монистах золотистых
Огоньков береговых
Ты бежишь меж гор лесистых
И просторов луговых.

Эти дали без предела,
Эту ширь и эту высь
С чудной силою воспела
Левитановская кисть.
У твоей ли груди влажной
Любит, трудится, живет
Даровитый и отважный
Героический народ.

Здесь на подвиг благородный
Родились богатыри:
Ленин, мудрый вождь народный,
Славный Горький — волгари.
Средь синеющих раздолий,
Волны зыбкие стеля,
Ты легла по нашей воле
У подножия Кремля.

Мы ряды плотин поставим
У твоих обильных вод,
Мы, куда хотим, направим
Волн твоих спокойный ход.
Ты пойдешь прохладой вея,
В тот степной безводный край,
Где дыханье суховея
Жжет и губит урожай.

И напившийся досыта
Освеженной почвы пласт
Золотые горы жита
Стороне родимой даст.
Ты осветишь нам заводы,
Пестрым ситцем зацветешь,
Ты морские пароходы
В край из края понесешь.

Вейся лентой прихотливой
Меж лесов, лугов и нив,
Пять морей страны счастливой
На всегда соединив.
Лейся, пашни орошая,
Глубока и широка,
Волга новая, большая
Многоводная река!

1937 г.

Е. Вихрев

ПОД ЗНАКОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ

МИНИАТЮРНЫЙ ПОДАРОК

Дни шестнадцатого съезда. Дождливый июль. В глазах людей, в грохоте строек, в движении улиц — неповторимая радость подъема. Съезду — Москве — стране преподносят один за другим бесчисленные подарки: закладываются новые шахты, домны; пускаются в ход уже готовые индустриальные гиганты; рабочие мускулы в ударном напряжении; тучнеют колхозные поля; осыпается первое зерно; зреют новые культурные начинания.

В те дни, в те часы, когда с трибуны съезда еще произносятся речи, совсем недалеко от Большого театра — в Западной торговой палате — приготовлен съезду — Москве — стране скромный и необыкновенный подарок. На первый взгляд он как будто не вяжется с другими подарками — настолько он странен, нежен и изыскан. И называется он тоже необычно: Первая выставка палехского искусства древней живописи. Но только очень нечуткий человек может растолковать созерцание этой выставки как уход из скучной действительности в нереальный мир красок, золота и серебра. Нужно об этом говорить смело и скучной действительности в нереальный мир красок, своих, всей изысканностью своих линий кровно связан с революцией. Он возрожден революцией, возвращен ею к полнокровной жизни из скудной дряхлости погибшего иконного ремесла.

Палех подобен омоложенному старику. Старик был дряхл и собирался умирать. Но вдруг явился ге-

ниальный хирург, не боящийся крови: революция. У искусства есть свои глубинные регуляторы жизни — свои железы внутренней секреции. Хирург коснулся классовым своим ланцетом этих потаенных желез искусства. Старик перенес сложную мучительную операцию. И вскоре люди увидели, что его глаза засверкали юношеским огнем, на месте седых волос появились русые кудри, в беззубом рту выросли два ряда белых и крепких зубов. Щеки бывшего старика покрылись румянцем. Походка его сделалась сильной, быстрой и бодрой. И вот теперь, в знак благодарности, омоложенный Палех преподносит своему хирургу «миниатюрный» подарок, — полный жизнерадостности и красоты.

Конечно, этот подарок, как он ни миниатюрен, далеко не умещается в полузале Экспортного музея. Он распространился по всему миру, вернулся в свою страну в виде тракторов и машин, ежедневно и ежечасно приумножает свое художественное богатство и отдает его в общую казну советской культуры.

Выставкой Палех подводит итоги своим успехам. Как доказательство успехов висят на стене иностранные дипломы, среди которых «Crand Prix». Тут есть и литературные материалы, в витринах фотографические портреты скромных героев своего дела, а самое главное — достижения творческие: картины и миниатюры.

Выставку открывает двухметровое слово «Палех», звериным орнаментом (работа Ивана Маркичева) написанное на холсте, висящем у входа. Дальше, в полукружии арки, тем же Иваном Маркичевым, с мозаической четкостью нарисован плафон: два пестрокрылые павлина, обращенные клювами друг к другу.

Позвольте: Палех, павлины — какое же отношение все это имеет к революции, к современности? Но—подождите усмехаться скептически: нужно сначала ознакомиться с подарком.

Для одних эта выставка покажется, может быть, однородной и малозначащей. Вдумчивый же созерцатель, наоборот, найдет ее очень большой, многообразной и знаменательной.

На выставке, среди трехсот экспонатов, есть две деревянные шкатулочки, расписанные в 1921 году, и

одна — тоже деревянная—вазочка. Это первые произведения палешан, принесшие им славу, первые творческие поиски — начатки артели древней живописи. Эти работы (Вакурова, Маркичева, Котухина) знаменуют собой еще тот период жизни палешан, когда они, забросив иконопись, из кустарей превратились в художников.

Тогда они еще не знали папье-маше и лака. Но они уже имели будущее, они уже знали, что дальнейшие пути их — пути возрождения.

Ныне Палех выступает в богатом разнообразии фактур: тут есть картины на холсте, тут есть росписи на папье-маше, фарфоре, финифти, пергаменте, слоновой кости, бумаге, дереве, жести и даже на стекле. И все эти столь разнородные материалы покорены одним общим стилем, одними и теми же старинными яичными красками — древними красками возрожденного Палеха.

Так же разнообразны и размеры произведений: наряду с миниатюрами, величиной с бронзовый пятак, есть холсты, достигающие трех метров в ширину.

И все же, как не велики холсты, как не оригинальны фарфоровые сервизы,—не они создают лицо Палеха, а опять-таки папье-маше, покрытое лаками, отполированное до безукоризненности водной поверхности.

То же самое можно сказать и относительно величин: лицо Палеха лучше всего узнается в миниатюре, а не в больших полотнах, потому что палехские полотна— это не что иное, как «большие миниатюры» (да простят мне это непозволительное сочетание слов).

НЕОМРАЧЕННЫЙ МИР

«Под защитой Красной Армии» — так называется холст Ивана Баканова, равный приблизительно квадратному метру. На переднем плане картины — в зрительном центре — пастушок, играющий на дулейке, пасет овец. Он прислонился к раскидистому дереву. За деревом — вдали — символическое солнце, на фоне которого зубцы и башни московского Кремля. В правой части картины — соответственно Кремлю — дерев-

ния, соответственно красноармейцам — женщины, жнущие рожь.

Картина построена на двух тайных цветовых лучах — на двух пересекающихся диагоналях. Одна цветовая линия протянута из левого верхнего угла: она начинается флагом над зданием ЦИК'а, спускается по зубцам Кремля, мимо холмиков, по красноармейским шлемам — к голове пастушка, и ниже зеленоватыми кустиками, касаясь ног пахаря, упирается в правый нижний угол картины. Другой цветовой луч идет из правого верхнего угла — через холмики, верхушку березки, кустики — к голове пастушка: и ниже по ногам красноармейских коней — в левый нижний угол картины. Тайные цветовые лучи пересекаются там, где изображена голова пастушка.

Пастушок является главным героем картины. Ее, вернее, следовало бы назвать «Под защитой пастушка», потому что все подчинено ему: он своей конечной завершонностью хранит и стройный бег красной конницы, и жнитво, и фабрики. Пастушок защищает собой симметрическую незыблемость картины.

Лирический пастушок — символ мира и благополучия — это самый дорогой для Ивана Баканова образ. Потому что Иван Баканов — поэт неомраченного мира. Он никогда не берет темами для своих произведений сражение, битву, даже охоту.

Характер его виден в простом перечислении выставленных произведений: «Кустари» — огромный холст с изображением кустарной росписи деревянной посуды; пять пудрениц, объединенные одной трудовой темой — темой льна: 1) «Уж мы ленок сеяли», 2) «Уж мы ленок мяли», 3) «Уж мы колотили ленок», 4) «Уж мы ленок пряли», 5) «Уж мы ленок ткали», затем: «Первый поцелуй», «Первый сноп», «Чаепитие», «Жнитво», «Хоровод», «Пейзаж»; наконец, двенадцать фарфоровых тарелок с двенадцатью месяцами года — двенадцатью эпизодами мирной деревенской жизни.

Для Ивана Баканова существует только светлый, ясный мир, не омраченный никакой враждой, мир счастливой любви, хоровода и пастбищ.

Все его творчество — это как бы мечта о счастливой жизни человечества, лишенной вражды и войн, мечта, которую наш век превращает в действие.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ МИНИАТЮРУ

Пять пудрениц Ивана Баканова.

Пять круглых, одинаковых по величине коробочек, предназначенных для хранения особой пыли, называющейся пудрой.

Пять красивых вещичек для туалетного столика модницы.

И только-то? И стоит ли серьезно говорить о них? Мало ли красивых вещичек на свете?

Нет, за бакановскими пудреницами скрывается нечто большее. Нужно уметь видеть не только рисунок на крышке пудреницы, но и то, что скрыто за ним. Сквозь миниатюру можно смотреть на мир: она—лишь замысловатый и трудно читаемый фокус, вобравший в себя героическую прозу нашей жизни, она — средоточение всех лучей нашего сегодня.

Иван Баканов и сам не знает, какой огромный мир несет в себе его тонкая кисть, сделанная из отборных волосков беличьего хвоста. Жизнь втекает в бакановскую кисть, чтобы, пройдя через ее ласковое острие, претвориться в символ, в образ.

Мне радостно искать и находить во всем причинную связь явлений.

Я смотрю на пудреницы.

Их женственно округлые плоскости украшены женскими фигурами.

Сначала я замечаю только то, что рисунки на всех пяти пудреницах связаны общей трудовой темой — темой льна: посев, мялка, трепанье, пряденье, ткачество.

На первой пудренице лен посеян, на пятой он превратился в холст. Я хочу пройти мимо пудрениц, но дата — 1930 — останавливает меня у витрины. Рисунки пудрениц неожиданно переносят меня в Палех, к его колхозным полям, к первой большевистской весне.

Мне радостно искать и находить во всем причинную связь явлений.

Песня поется:

Уж мы ленок сеяли, сеяли,
Мы сеяли, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
«Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, наш беленький ленок».

Слова льняной песни — первый куплет — золотой цепочкой окружают первый рисунок.

Я слышал эту песню: пели ее колхозники «Красного Палеха». Песня не была предусмотрена посевным планом. План первой большевистской весны предусматривал внедренье технических культур, обеспечение сырьем легкой индустрии. Колхоз «Красный Палех» засеял в первую большевистскую весну льном сто семьдесят гектаров. Тридцатый год был для Палеха годом роста коллективизации.

Лен посеян. Песня растворяется в воздухе, как цветочный аромат.

Я смотрю на вторую пудреницу Ивана Баканова.

Но за Ковшовской слободкой — на отлете от села — стоят стога прошлогоднего льна. Там «Красный Палех» построил трепалку и сушилку — деревянные здания для первичной обработки льна. Там, за Ковшовской слободкой, колхозницы «Красного Палеха» воюют со льном. Эта работа похоже на драку. Нужно измочалить льняные пуки. Невесомые колючки кострики, как бескрылые насекомые, носятся в пыльном воздухе, впиваются в волосы, лезут в уши, за воротники, в рукава. Побежденный лен — обмякший и гладкий — лежит у ног победительниц. И победная песня — необычно ласковая спутница тяжелого труда — возносится над стогами:

Уж мы ленок мяли, мяли,
Уж мы мяли, приговаривали,
Чеботами приколачивали...

Лен колотят машинными колотушками.

Льняная песня поется дальше:

Уж мы колотили, колотили ленок,
Колотили, приговаривали...

Здесь песня обретает крылья. Лен стал волокнисто-воздушным. Песня летит из Палеха — через поля и селенья — к ивановским корпусам, на Кохомскую льняную мануфактуру. Там она гудит в прядильных ватерах:

Уж мы ленок пряли, пряли...

И, отдавшая машинному шуму последние звуки, трепещет в молниеносном порыве челнока:

Уж мы ленок ткали, ткали...

Здесь кончается песня. Палехский лен превратился в тяжелые куски белейшей льняной ткани. Песня, прилетевшая с палехских полей, переродилась, она приобрела плотность, вес и размер. Но ей суждено еще возвратиться в Палех: льняные ткани в нужном количестве с ивановских фабрик отправляются в Палехскую кооперативную артель строчей.

В ней объединены около пятисот палешанок, в том числе жены, сестры и дочери художников. Строчеи работают в артельной мастерской, в доме, стоящем неподалеку от Артели древней живописи.

Я смотрю на бакановские пудреницы и размышляю о сугубой их женственности. Они округлы, они предназначены для женщины, на них нарисованы женские фигуры, изображающие женский труд — колхозницы, прядильщицы, ткачихи — рисунки окаймлены словами песни; песня имеет женские строки: сеяли, приговаривали, приколачивали... Я смотрю на бакановские пудреницы: они покоятся в витрине Западной торговой палаты, в сердце Москвы, — в Китай-городе, и сквозь шум и гул Москвы, что доносится из-за стен, мне слышится палехская песня. Сквозь пудреницы видится мне Палех, журавли колодцев, соловьиный елошник Палешки и березы на улицах. Сквозь круглые женственные миниатюры я слышу льняную песню, я вижу льняные ткани, солнечные окна артели строчей, я вижу палешанок, склоненных над пяльцами.

Взгляды палешанок порхают, как ласточки. Розовеют их лица, руки, колени. Простираются пяльцы. На пяльцах распялены льняные ткани. Пальцы палешанок прикасаются к пяльцам. Нужно вытащить нитку основы: тут пройдет строчка, как по бумаге проходит строчка стихов. Шелк сплетается со льном. В строчевых параллелях и перпендикулярах рождаются львы, корабли, города — гладью, в тамбур, стебельчатым швом, — создаются многоцветные каймы обшлагов, воротников, поясов и подолов, — шелковая геометрия, где линия мыслится только прямая, где углы могут обманывать глаз своей круглотой. Здесь — в ритмическом движеньи иглы — закрепляются все стихотворные размеры: ямбы, хореи, анапесты. В руке у палешанки игла — древний штиль, заменяющий кисть. Эта работа бездумна, мысль — вне ее. Строчка же из-под

пальцев течет и течет. Так возникают рубашки, белье, полотенца и скатерти.

Ткани обхватят женские талии в ненадоедающей риторике петелек — львов, городов и узоров — гладью, в тамбур, стебельчатым швом, — параллели и перпендикуляры скроют под собой круглоту человеческих ног, бедер, грудей. Эта работа лирична. Думать. Следить за движением нитей. В уме пронесутся твои города и годы: юность, отвага, любовь и работа. Ткани, цветистые нити, лица строчей, лирические строчки обшлагов, воротников, поясов и подолов, льняная колхозная песня, как скатерть, — все сольется в один, тысячелетия ведомый образ: женщина. Так было тысячелетия назад, так будет в тысячелетиях грядущего.

Позвольте: но ведь я пишу о кооперативной артели строчей. Что о ней можно сказать еще? Продукция экспортируется. Можно бы блеснуть цифрами. Выходит стенгазета. В артели есть комсомолки. Можно бы дать характерный тип строчеи. Но...

Вернемся к бакановским пудреницам.

Льняная песня спета до конца. Воздушные и женственные строки ее напечатаны строчеями в льняных тканях. Пять трудовых куплетов — сев, мялка, трепанье, пряденье, ткачество — артелью строчей закрепились окончательно: в пестроте платяных орнаментов.

И вот таинственными путями вдохновенья льняная песня попадает в Артель древней живописи, на бакановскую кисть.

Пять куплетов песни повторяются вновь. Пять пудрениц лежат перед Иваном Бакановым. Пять круглых рисунков. Песня тут становится краской и линией. Полупрозрачной плавью, острыми движками лессировки, солнечным завершеньем золота, выглаженного коровьим зубом, Иван Баканов — поэт неомраченного мира — расцвечает песню. И все — от посева до ткани — повторяется вновь, вновь проходит перед глазами.

«Уж мы ленок сеяли, сеяли», — написано на первой пудренице. Надпись эту можно было бы заменить другой: «Колхоз «Красный Палех» засеял в 1930 году 120 га. Колхозницы «Красного Палеха» сеют лен». Или: «Обеспечим нашу льняную промышленность сырьем. Внедрим технические культуры в наши посевные планы».

«Уж мы ленок мяли, мяли», — написано на второй пудренице. Надпись эту можно бы заменить другой: «Колхоз «Красный Палех» построил льнотрепалку. Колхозницы «Красного Палеха» за работой».

«Уж мы колотили, колотили ленок», — написано на третьей пудренице. Надпись эту можно бы заменить другой: «Первичная обработка льна в колхозе «Красный Палех».

«Уж мы ленок пряли, пряли», — написано на четвертой пудренице. Надпись эту можно бы заменить другой: «Усилим нашу легкую индустрию».

«Уж мы ленок ткали, ткали», — написано на пятой пудренице. Надпись эту можно бы заменить другой: «Ивановские ткачихи выполняют свой промфинплан».

В дни Шестнадцатого партийного съезда пудреницы Ивана Баканова были выставлены в Западной торговой палате. Шестнадцатый партийный съезд говорил о возрождении Советского Союза. Пять пудрениц Ивана Баканова говорили о том же.

Где они сейчас? Чьи пальцы касаются их? И знает ли обладательница их, сколько эти пудреницы скрывают в себе правды нашей великой эпохи? Нет, обладательница знает только то, что они предназначены для хранения особой пыли, называющейся пудрой.

Нам же об этом приятно забыть.

«И ВЕЧНЫЙ БОЙ»

Иван Голиков — полная противоположность Ивану Баканову.

Это мастер битвы, поэт стремительных стихий, движения и неукротимой борьбы.

Иваном Голиковым выставлено в Западной палате два холста и двадцать девять миниатюр, не считая фарфора. Нет надобности перечислять все произведения этого блестящего мастера, но не мешает подвести им некий тематический итог.

Восемь различных миниатюр называются одинаково: «Битва» — битва красных с белыми. Каждая из этих восьми битв имеет собственную композицию. В каждом из этих восьми произведений сражаются воинственные всадники — богато разодетые красавцы на

могучих конях самых необыкновенных мастей: тут есть кони бакановые, синие, коричневые, зеленые, белые, желтые. Воинственный всадник — это центральный, излюбленный образ Ивана Голикова. Но воинственность — понятие более широкое, чем понятие «битва».

Голиков не баталист, — он художник воинственности в самом широком смысле этого слова.

Его тройки (на выставке их три) не просто мчатся, — они преодолевают снежные вихри и бури.

Его холст «Митинг Стеньки Разина» (редкая вещь, где нет коня) весь исполнен грозной воинственности. Глядя на этот холст, думается, что вот-вот Степан Разин кончит свою речь и двинет всю ватагу в бой.

Его «Бесы» — это Пушкин, мчащийся в кибитке сквозь воинственные метели. Его «Нападение волков»— это яростная схватка человека со зверем.

Его «Петухи» — это непременно боевые петухи, которые сражаются не на жизнь, а на смерть.

Из тридцати с лишком произведений Голикова, выставленных в Западной палате, большая часть посвящена битве, войне, борьбе, сражению.

Если Иван Баканов покоряет зрителя стройной ясностью своего замысла, то Иван Голиков держит зрителя во власти своих воинственных образов, как гипнотизер. Он умеет строить произведение по своим особым законам, которые не поддаются анализу. К таким произведениям можно отнести «СССР помогает народам Востока», «Бой красных с белыми», «Курган» и другие.

Если Иван Баканов — мечта о счастливой жизни человечества, то Иван Голиков — вечный намек на то, какими битвами и бурями завоевывается это будущее. Жизнь будет превращена в красоту восстаниями и битвами, как эти восстания и битвы превращены в красоту кистью Ивана Голикова.

Искусства всегда перекликаются: глядя на произведения Ивана Голикова, этого беспокойнейшего из мастеров, невольно вспомнишь строки Блока:

И вечный бой... Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

ДРЕВЕСНАЯ ГРУСТЬ

Прежде чем вплотную подойти к витрине Ивана Вакурова и рассмотреть каждую вещь в отдельности, нужно на расстоянии двух шагов окинуть взглядом всю витрину. Первое, что бросится в глаза, — не человеческие или звериные фигуры, не влага и не холмики, а дремучая зелень — вакуровские деревья, истонченно стремящиеся ввысь и какой-то роковой силой грустно согнутые, ниспадающие к земле.

Если у Ивана Баканова пастух и пастушка, целующиеся в окружении стада под нежнейшими бакановскими облачками, действительно полны бездумной юношеской радости, то у Ивана Вакурова всегда есть намек на то, что все преходяще, что любовь несет с собой не только радость, но и боль.

Вот одна из лучших его миниатюр: «Хуторок». Стройный юноша, стоя в изящной длинноносой ладье, переплывает речку. Навстречу ему, из прибрежных кустов, выходит красавица, машущая платком; их взоры обращены друг к другу; деревья по обоим берегам речки — сосны, березы, ели — изогнулись в грустных наклонениях. Юноша плывет на свидание. Девушка встречает его. Через минуту они встретятся, но не затем, чтобы целоваться, а затем, чтобы поплакать о чем-то утерянном, дорогом и невозвратимом.

Овальный жестяной подносик с библейским рисунком «Соблазнение», баульчик из папье-маше с тем же «Соблазнением», холст «Борьба со змием», коробочка с картиной «Леший», «Печальный демон, дух изгнанья»—вот лучшие вещи Ивана Вакурова.

Впрочем, есть у него еще «Тройка». Но и в этом, казалось бы, не свойственном ему голиковском сюжете Вакуров неповторимо своеобразен: всякий сразу отличит торжественно-важную поступь вакуровских коней от бешеного галопа коней голиковских.

Зеленый змий, огнекрылый демон, рогатый леший — эти старинные образы полюблены Вакуровым навсегда. Но он не списывает их слепо с библейских и поэтических легенд, — он перерабатывает их в себе и для себя: леший, змий, демон Вакурову нужны только затем, чтобы лучше оттенить основное лирическое настроение художника — светлую грусть, выраженную в изгибах зеленых веток, в дремучем древесном мире.

НЕЗАСЕЛЕННЫЕ МЕСТА

Николай Зиновьев — художник урожая, веселья и детства. Но он, как и большинство палешан, в то же время поэт того нестрашного мира художественной фантазии, в котором живут привлекательно-сердитые лешие, бабы-яги, путешествующие в символических ступах, скорбно-красивые русалки и ведьмы, летающие на золотистых метлах. Несомненно, в воображении Николая Зиновьева бесы и ведьмы существуют как художественная конкретность, без которой мир был бы неполным.

У него есть квадратный поднос из папье-маше, величиной поменьше четверти листа писчей бумаги, с интригующим рисунком. Алый транспарант извивается поверх, над деревьями, образуя воздушную арку. Под ней группа живописных фигур: леший, ведьма, русалка, баба-яга — и рядом с ними — несколько детей мал-мала меньше. При внимательном рассмотрении вы заметите на шеях у детей такие же алые, как транспарант, галстуки. В глубине картины — два стола, квадратный и круглый, за которыми также сидят дети. Пионер-председатель поднял руку с золотым колокольчиком. Ступа у бабы-яги сделана с инкрустациями, мохнатый леший выступает торжественно, ведьма летит на яркой, как комета, метле, русалка грациозна. И веселы дети. В чем же дело? Но вглядитесь повнимательнее, и вы заметите на транспаранте золотые слова: «Показательный суд над бабой-ягой, ведьмой, лешим и русалкой. Обвиняются преступники в запугивании детей. Требуем выслать преступников на незаселенные места».

Только тут вы поймете тонкую иронию художника, который одним выстрелом убил двух зайцев: во-первых, воспользовался случаем лишний раз изобразить своих не существующих в природе любимцев, а, во-вторых, преодолел сказочные традиции, выслав этих своих любимцев на «незаселенные места». А эти незаселенные места находятся на соседней миниатюре. Тут действительно нет ни одной человеческой фигуры — должно быть, по этим местам не ступала еще нога человека. Зато ведьмам и лешим предоставлена тут полная свобода, они хозяйничают во-всю, они даже вздумали обвенчать водяного с русалкой.

А рядом с этими миниатюрами лежит миниатюра того же мастера «Пять декабристов» (Николай Зиновьев, кстати, великолепный портретист); чуть повыше висит его же картина «Праздник урожая» — талантливейший отклик на современность. Эта последняя останавливает внимание зрителя необычайным богатством красок, искуснейшим применением золота и серебра, исчерпывающей полнотой замысла.

Есть у Николая Зиновьева еще одна миниатюра «с фокусом».

На овальной пластинке, величиной с человеческую ладонь, изображен сложный пейзаж с людьми и животными. По краям миниатюры волнуется море, омывающее берега странно удлиненного острова. Миниатюра имеет два фокуса зрения: дальний и близкий. Но прежде чем найти эти зрительные фокусы, нужно обратить внимание на золотую надпись, бегущую вдоль орнаментов по краю овала. Это слова из сказки «Конек-горбунок»:

Чудо-юдо рыба-кит
Поперек моря лежит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты.
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит.
Мужики на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Теперь можно легко найти первый зрительный фокус — дальний, прищурив глаза так, чтобы детали рисунка оттеняли его, а не усложняли. В самом деле, зритель видит кита, лежащего вдоль овала. У кита есть голова, есть зеленоватый глаз, есть раздвоенный хвост (в верхнем сужении овала). И получается что:

Чудо-юдо рыба-кит
Поперек моря лежит.

Теперь, когда найден первый зрительный фокус, нужно приблизить миниатюру к глазам, и тогда будут видны все замечательные детали картины: частоколы в ребрах, сыр-бор на хвосте, село, пахота, пляска, девушки-грибницы.

Николай Зиновьев — уроженец деревни Дягилево, что в километре от Палеха — по дороге в село Красное. Он похож на ивановского ткача: чуть впалые щеки, короткие усики, спокойный, немного грустный взгляд.

Николай Зиновьев болен туберкулезом.

Раз в году, когда художники вместе со всеми сельчанами гуляют в Красном, они, по возвращении из Красного, заходят в Дягилево, к Николаю Михайловичу Зиновьеву. Постороннему спутнику они говорят при этом:

— У нас уж такая традиция—заходить в Дягилево.

Николай Михайлович, установивший эту традицию, накрывает к их приходу стол. Гостей встречают дедушка Михаил и бабушка Марья — родители художника. Дедушка Михаил смотрит на всех с детским любопытством сквозь толстые очки. Он седобород и улыбчив. Посторонний спутник спрашивает его, чтобы о чем-нибудь заговорить:

— А много, наверно, ты святых на своем веку писал?

Старый потомственный иконописец заставит повторить вопрос и потом ответит:

— А хрен их знает, сколько святых-те!..

Дедушку Михайла я вспомнил потому, что здесь, в Западной палате, — на холсте Николая Зиновьева, увидал знакомое лицо старика, вокруг которого собрались дети (картина «У лесной опушки»). «А, пожалуй, это дедушка Михаил, — думаю я. — Несомненно дедушка Михаил...» На картине всходит солнце. Всходящим солнцем посланы куда-то розоватые, как дети, облачка. Ватага детей окружила старого лесника. Картина свежа, как летнее лесное утро.

Вот что пишет сам Николай Михайлович Зиновьев о своей работе. Привожу его письмо без всяких исправлений, с несущественными сокращениями:

«Пионерский суд над бабой-ягой и др. Эту тему мне никто не внушил, я часто задумываюсь, что мы своей работой приносим обществу пользы очень мало. Но я должен по своим силам какую-то пользу давать обществу. Я сказки любил и сказочных героев люблю. Но мне стыдно стало писать сказочных героев, как бы я их ни любил. Я воскрешал старые вредные предрассудки, которые делали детей всех возрастов запуганны-

ми. Я для выставки изыскивал тему, но не нашел, а просто о с у д и л с е б я (разрядка моя. — Е. В.) и начал этот суд писать на холсте большого размера. Но я робел, я не слыхал прямой оценки моих работ. Разочаровался в этой теме, счел ее наивной и не дописал холст. Но все-таки думаю себе хотя миниатюру, но напишу и этим сделаю хотя небольшую пользу, авось может поймут мою мысль, выдвигая передовых детей пионеров, которые должны осудить и изгнать своих вредителей. А чудо-юдо рыба-кит я изображал как красивую картинку, которую написал Ершов».

Дальше в письме он пишет и о жизни своей:

«Здоровье мое ничего, но не совсем, хотя палеховский врач признал у меня туберкулез во второй стадии, но я не верю, я не чувствую, что у меня уже так больны легкие, хотя у меня есть признаки и кровохарканье, но меня это не пугает, у меня такое явление с 1912 года, я себя чувствую не хуже, чем 18 лет на назад, да мой и возраст уже 42 года...

А относительно работ. Я сегодня ухожу на две недели в отпуск на покос, а после отпуска у меня есть письменный прибор, думаю писать на нем вкратце от происхождения земли до настоящего время».

У человека вторая стадия туберкулеза, он обременен большой семьей, ему нужно управиться с покосом — и при всем этом человек ни на минуту не забывает того, что он художник: он размышляет о творчестве, придумывает сюжеты будущих своих произведений.

СЛОБОДСКИЕ

Слободой называется восточная часть Палеха, улица, поднимающаяся от берегов Палешки в гору. Отсюда хорошо видна Базарная площадь с церковью, сельсоветом и новый дом артели. Дорога отсюда ведет на Мыт и Ландех, в глухие районы, богатые кружевницами и белошвейками. Здесь, в слободе, на самом краю села живет председатель артели, Александр Иванович Зубков. У него останавливаются иностранные туристы. Здесь же, в Слободе, ближе к центру села, почти соседствуют домики Ивана Васильевича Маркичева и Дмитрия Николаевича Буторина.

Оба эти художника, не обремененные семьями, чуждые честолюбия, люди, имеющие в здоровом теле здоровый дух, как-то неотделимы в моем представлении один от другого. Их часто увидишь идущими вместе, их связывает дружба — дружба художников и слобожан.

Вместе приезжали они в Москву, в музей Керамики, изучать фарфор и расписывать сервизы. Жили они в музее Керамики под лестницей вместе с молодым вологодским скульптором Сережей Орловым, сами готовили себе обед, посещали литературные диспуты, знакомились с писателями. Там, под лестницей, спали они на витиеватых диванчиках, покрытых красным бархатом.

О них всегда хочется думать одновременно. Их характеры схожи, быт их одинаков.

Зато как различны они в творчестве! В жизни они соседствуют, а в творчестве нет.

Если рассматривать работу каждого мастера с точки зрения художественного соседства, то можно сказать, что Буторин соседствует скорее с Голиковым, а Маркичев с Бакановым.

Иван Васильевич Маркичев деловит, рассудителен и серьезен. Ему артель поручает важные переговоры, он долгое время был председателем ее. Дмитрий Николаевич Буторин, подобно герою «Блохи», иногда говорит малозначащие слова, — видно, что словами он не всегда может выразить свои мысли. Зато он обладает способностью от души рассмеяться, поиронизировать, сразить кого-нибудь метким словом. Про одного современного писателя он сказал, что тот пишет «как-то ящично», и этим замечательно определил манеру писателя.

На выставке их витрины тоже соседствуют. Но содержание этих витрин ставит их в противоположные концы художественного Палеха.

Показательна работа Маркичева «Возвращение с работы». Рожью и васильками, золотисто-палевой тропкой идут несколько девок и парней. Им сопутствует собака. Сзади, во ржи, поодаль от всех, идут юноша и девушка, мило любезничая. Другая девушка, впереди, ревнивым взглядом посматривает на влюбленную парочку. А кругом волнуется рожь, спелые виснут колосья, во ржи голубеют васильки. Можно часами смотреть на эту, нарочито скромную, не блещущую никакими особенными эффектами миниатюру, и чем больше смотришь, тем

все больше понимаешь, каким предельным чувством меры обладает художник: расположенье идущих фигур, положение лающей собачонки, наклоненья колосьев — все непреложно: попробуйте мысленно передвинуть или изъять одну фигуру, и это вам не удастся.

На художественном знамени Ивана Маркичева написано: скромность прежде всего. Если все другие мастера по-своему эффектны, то Иван Маркичев умеет заменять эффект простотой, которая только на первый взгляд может показаться скудостью. Нет, эта простота, эта сюжетная и изобразительная скромность есть простота и скромность глубины и богатства, она подобна простоте пушкинского стиха: чем больше вчитываешься в него, тем больше находишь новых мыслей, свежих чувств и красот.

Дмитрий Буторин, наоборот, художник, который всегда стремится подковать какую-нибудь заморскую блоху, достигнуть необыкновенного эффекта. Он разрисовал бисерницу, величиной с половину спичечной коробки. На крышке ее он изобразил игру в карты: человеческие фигуры тут не больше мухи, а в руках у людей карты, на столе листок преферанса. Один человек, посмотревший на эту миниатюру, сказал, что тут видно даже, кто выигрывает.

На выставке есть пушкинское «Лукоморье» в двух вариантах работы Буторина. На двенадцати предметах письменного прибора Дмитрий Буторин изобразил отдельные картины «Лукоморья»: на крышке блокнота— ученый кот рассказывает Пушкину сказки, на разрезательном ноже — тридцать витязей, на пресс-папье — царевна в темнице, затем — царь-кащей и так далее.

Но Буторин этим не ограничился: разложив «Лукоморье» на составные части, он взял маленькую коробочку и на крышке ее соединил все элементы воедино.

Иван Маркичев и Дмитрий Буторин — простота и изощренье — два полюса художественного Палеха.

МАСТЕР ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ

Каждый из палешан имеет свое художественное лицо и свое имя, которое не забудется. Пройдут десятки и сотни лет, но подпись на миниатюре не сотрется. О па-

лешанах-художниках много еще будут говорить и писать. И вот, когда современный Палех уйдет в историю, никто не вспомнит одного безыменного мастера, чей труд заложен в каждой миниатюре, приготовленной из папье-маше. В Западной палате посетитель выставки может увидеть первобытный деревянный станок-пресс для тиснения папье-маше, может увидеть картонные заготовки, полусырье, загрунтованную коробочку, не покрытую еще красками. Коробочка, не покрытая красками и лаками, изделие рук Ивана Степановича Бабанова — токаря, члена Артели древней живописи.

Жизнь начудила с Палехом вдосталь, как бы сказав себе: «Жарь во-всю Ивановскую». И вот даже этого мастера, не знающего краски и кисти, заготовщика полусырья, токаря, коробочника, жителя соседнего села, — даже его жизнь нарекла при рождении Иваном, а потом на старости лет пристегнула к соцветию Иванов, сказав ему, Ивану Бабанову: «Будь крепким стеблем каждого цветочка, — стебель должен быть достоин той красоты, какую он держит».

На нем бессменная черная шляпа, имеющая форму двух низких цилиндров, вложенных один в другой. Шляпа Ивана Степановича черна, как собственное изделие из папье-маше, загрунтованное, но еще не успевшее покрыться красками и лаками. Не сам ли Иван Степанович обтачивал на токарном станке низкие цилиндры из этой шляпы и вделывал донце? Шляпа стара, но она прочна, как сам Иван Степанович, как прочны изделия его рук. Это шляпа мастера, который, надев ее, надел на всю жизнь. Она прочно сидит на голове, она помогает в работе и в жизни хотя бы тем, что на нее можно не обращать внимания. Она очень соответствует этому черному грунту усов и бороды, тронутых слегка серебристой кистью старости, этому глубокому искрящемуся лаку глаз и сильным трудовым морщинам мастера.

Шляпа Ивана Степановича Бабанова так похожа на изделие из папье-маше, что думается: «А ну как она попадет в руки художнику, ну, хоть бы Ивану Михайловичу Баканову — возьмет ее художник в свою высокую обработку, таких наплетет золотых орнаментов, таких разделает петушков на ней, такие пустит деревца и облачка поверху, что шляпа не усидит на голове Ива-

на Степановича, сорвется, полетит и сядет под стекло, в витрине столичного музея.

Иван Степанович Бабанов — мастер геометрических форм, а не рисунка, мастер законченных пространств. Он работает в трех измерениях, и он знает чувство и меру трех измерений — длины, ширины и высоты.

Он живет в селе, имеющем также три измерения: историческое, географическое и ироническое. Проще сказать, село, в котором живет и работает Иван Степанович, имеет три названия. Неспроста палехский поэт-самоучка Александр Егорович Балденков втиснул в одну из своих обличительных поэм эти три названия.

Напишу стихотворение
Про знакомое селение.
Темнотой не обездолено
«Трехэтажное» Подполино.
Прозывает деревенщина
То селенье Оболенщино,
А еще его зовут
Матушкиным — там и тут.

Первое название — Подолино — измерение географическое: село расположено в долу, домики его теснятся по долу, поросшему ивами, липами, ольхой. Второе название — Оболенщино — измерение историческое: селом владели князья Оболенские. А третье название — Матушкино — измерение ироническое: истоков этого названия нет, но палешане произносят его всегда чуть-чуть с усмешечкой.

В Подолине — Оболенщине — Матушкине Иван Степанович имеет свою мастерскую, в которой все, начиная от токарного станка и кончая маленькой стальной пилой, сделано им самим. Иван Степанович производит для артели шкатулочки, пудреницы, портсигары, разрезательные ножи, баульчики, бисерницы, очешники, таблетки, стаканы, ручки для перьев, броши, подносы, крышки для блокнотов, пресс-папье.

Кубические, квадратные, продолговатые, овальные, полуовальные, круглые, цилиндрические, плоские, — все они выходят из-под его рук, чтобы одеться красками, чтобы радовать глаза и руки. Он создает тело палехской миниатюры.

Но, кроме того, он умеет делать столы, стулья, станки, рамы, — и чего только еще не умеет делать этот маленький старичок, одетый в бессменный пиджак, в старую шляпу и большие смазные сапоги.

Посторонние заказчики Ивана Степановича жалуются иногда на то, что он долго не исполняет заказа. И на вопрос: «Когда же вы, Иван Степанович, сделаете мне?» Иван Степанович говорит:

— Я знакомлю ваш материал с мастерской. Вчера он у меня лежал под верстаком, завтра положу на полку, потом на полати, вот когда он у меня облежится, тогда и примусь.

Материал — дерево, железо — путешествует с места на место, лежит неделю, другую, третью. И, наконец, наступает такая вдохновенная минута, когда Иван Степанович берет его в работу. Материал познает силу токарного станка, в него вгрызаются сверла и долота, — бесформенный, он постепенно обретает форму — строгую, законченную.

Иван Степанович — токарь-творец, токарь-художник: он одухотворяет материал, он умеет находить в материале самого себя, как поэт находит себя в окружающем.

Вот почему только он и никто другой мог стать заготовщиком полусырья — членом художественной артели. Глядя на свои изделия острыми, веселенькими глазами, держа их в руках, — должно быть, жалея расстаться с ними, — он как бы мысленно обращается к ним: «Ну, милые мои, теперь вы идите, одевайтесь в краски, ваша одежда будет очень пышной, по краям у вас зазолотятся орнаменты, на поверхности вашей вспыхнут неугасающие краски, и чем пышнее будет одежда ваша, тем скромнее будете вы».

Иван Степанович Бабанов — человек, не отравляющий своего организма ни табаком, ни водкой, колхозник-кустарь, изделия которого держат в руках и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Он скромен. Таких людей нужно ценить. При дороге, ведущей в село, нужно бы прибить мраморную доску с золотой надписью:

«Здесь живет и работает Иван Степанович Бабанов — мастер законченных пространств, герой токарного станка и колхозник».

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

Палехское соцветие включает в себя три поколения художников.

Первое поколение — это старые мастера, перекинувшие мост от прошедшего к будущему. Они учились на лучших образцах иконописи и церковной стенописи, они реставрировали Грановитую палату, Новодевичий монастырь, Исторический музей. Их немного, и каждое имя их вписано золотом в историю русского искусства: Баканов, Голиков, Вакуров, Зиновьев, Маркичев, Котухин, Буторин, Зубков, Дыдыкин, Ватагин.

Второе поколение — это мастера, члены артели, вышедшие из учеников. Революция оборвала их ученье в иконописных мастерских, и они продолжили его в артели. Из них уже вышли зрелые мастера. Старые им передали все, что могли: уменье владеть кистью и краской, особенности палехского стиля, уменье строить композицию, правильное чувство плави и лассировки. Дальнейшие успехи их зависят от собственных исканий, от саморазвития, от расширения тематических возможностей. К этому второму поколению относятся: Буреев, Буторин Александр, Баженов, Коурцев, Баканов Александр (племянник и ученик Ивана Михайловича), Баранов.

Третье поколение — отрочество и юношество артели — молодежь, изучающая анатомию человеческого тела, пробующая себя в силуэте, в карандаше. Между прочим, в числе третьего поколения палешан есть две девочки. За триста лет существования иконописного и художественного Палеха это первый случай обучения палешанок живописи.

Пройдут десятилетия, ученики «пристреляют» свой глаз, постигнут всю сложную философию красок, приобретут известность, и тогда с гордостью будут они говорить: «Я учился у Баканова».

«Я учился у Котухина».

«Я учился у Голикова».

Старые мастера будут жить не только в своих произведениях, но и — как отсвет, как неумирающий изгиб — в краске и в линиях других поколений учеников. Ибо старые мастера передадут им — каждый свое — чувство цвета и линии

С самого своего возникновения артель неуклонно росла, приобретала славу, получала дипломы, расширяла свои творческие возможности. Но ей приходилось туго: не было средств, не было достаточного помещения. Всего год назад артель ютилась еще в крохотном домике, имеющем одну комнатку.

Правительство пришло на помощь артели, и теперь у них есть двухэтажный каменный дом, которому позавидовал бы любой иконный фабрикант, вроде Сафонова. Теперь в этом артельном доме люди работают, учатся и вспоминают без сожаления то время, когда они писали иконы на хозяина, когда Палех пьянствовал и писал святых, когда первые шаги учеников заключались в бегании за водкой.

Но возрождение всегда бурно опережает планы, как наше социалистическое строительство опережает свою пятилетку. Оказывается, и этот дом уже мал для артели.

Путь Палеха, как и путь страны, — вперед и выше, больше и лучше.

И разве не символично, что возрождение Палеха идет, так сказать, параллельно возрождению Советского Союза? Есть какая-то глубоко скрытая связь между каждой вновь построенной фабрикой и вновь написанными произведениями палешан. И разве вся эта неиссякаемая радость палехских красок не соответствует великой радости нашего строительства? Если нам, современникам, эта связь, это соответствие кажутся натянутыми и непрочными, то можно не сомневаться, что потомки наши, которые будут изучать наше великое время и великое искусство Палеха, наши потомки, откинув детали, неразрывно соединят в своем сознании краски Палеха с красками великого времени. Тогда им будет понятно, что Палех стоит своей эпохи.

Москва, август 1930 г.

В. Полторацкий

ЮБИЛЕЙНОЕ

Вымыт щелоком пол сосновый,
Черным лаком блестит комод.
Белой скатертью, как обновой,
Стол по-праздничному встает.

Пироги на столе румяны,
Золотится горячий чай.
И качается, будто пьяный,
Зайчик солнечного луча.

Дверь распахнута для привета
В молодой и цветущий мир...
С заседания сельсовета
Возвращается бригадир.

Снял он с плеч свой пиджак суконный,
Руки истово сполоснул
И садится на свой законный,
Хитро выгнутый венский стул.

А вокруг него, в свою очередь,
Вся семья за столом сидит.
Кофта глаженая на дочери,
У ребят франтоватый вид.

«Сам» молчанием час не дразнит
И, расправив сажени плеч,
Открывая семейный праздник,
Произносит такую речь:

— Ешьте, пейте, не беспокойтесь,
Чисто в горнице, стол готов.
Нынче я именинник, то есть,
Вышло мне пятьдесят годов.

Если ж вспомнить, — какая жалость! —
Без дороги, во все края
По глухим закоулкам шлялась
Беспокойная жизнь моя!..

И пастушил я, и батрачил,
Лебеду и мякину ел.
Я и думать-то об удаче
О своей никогда не смел.

Зацепила меня арканом,
Захлестнула петлей нужда.
Обособленным тараканом
Проползал я через года.

А теперь, подводя итоги,
Как ученые говорят,
Без сомнения и тревоги
Выхожу я в передний ряд.

Значит, в мире я не осколком...
И пути мои широки,
Вот вам дочь моя — комсомолка,
Вот два сына большевики.

Вот вам горница, что полмира, —
И работа идет ладней...
У Савельева, бригадира,
Триста семьдесят трудодней.

У меня! И по всем приметам
Словно свет для нас стал белей,
Очень нравится мне вот этот
По-ученому — юбилей.

1935 г.

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

Над вышивкой склонилась ты.
Игла мелькает в ловких пальцах,
И расцетает в рамке пяльцев
Причудливый узор мечты.

Пунцовые букеты роз
Рассыпались по легкой ткани...
Ах, что им вьюги, что — мороз?
Страшно ли им зимы дыханье?..

Им вечно цвесть и вечно жить!
Согреты жаром вдохновенья,
Они, как в первый день цветенья,
Вовек останутся свежи.

...Над пяльцами склонилась ты, —
Как хороши узоры шелка!..
Рассыпал вечер над поселком
Заката пышные цветы.

Запеть бы песню!..
    Спой о том,
Как жизнь цветет прекрасным садом,
Запой о том, чему ты рада
В родной семье, в краю родном.

О родине великой спой,
Где, солнцем Сталина согреты,
Ткачи, художницы, поэты —
Живут одной большой семьей.

Где вдохновенью нет преграды,
Где мысли и дела цветут,
Где самой высшею наградой
Для человека служит труд.

1935 г.

В СИТЦЕПЕЧАТНОЙ

Горячие, как ветер с юга,
Неудержимо веселы,
Наперегонки друг за другом
Бежали медные валы.

И в сумеречном свете цеха,
В кругу обыденных забот
Кружился искрометным смехом
Цветов и листьев хоровод.

Такое даже не приснится:
Кивнет минута головой, —
И желтая дорога ситца
Кудрявой зарастет травой.

Валы спешат, а мастер взглянет
И улыбнется невзначай
На пышный розовый румянец,
На яркий отблеск кумача.

И вот мечтою о просторе
Еще непройденых дорог
Ему блеснет с машины морем
Сатина кубовый кусок.

Он будет много лет носиться
И будет много лет цвести.
Недаром хочет мастер в ситцы
Узоры песен заплести, —

Чтоб отпечатались на ткани
И зацвели, как маков цвет,
Все напряжения исканий
И вся восторженность побед.

1936 г.

НОВОГОДНЯЯ РЕЧЬ

— Тише!
На Спасской башне
Сейчас заиграют куранты,
Торжественная минута
В комнату к нам войдет,
Мгновенно сменятся даты —
Вечности квартиранты.
Пожелаем друг другу счастья
И вспомним минувший год.

Славой своих событий
Он честно войдет в историю,
Как год величавых подвигов
И грандиозных побед.
Мы в нем любили, смеялись,
По дружбе сердились и спорили,
С ним зажигали в звездах
Яркий рубиновый свет.

Мы строили самолеты
И покорили полюс.
Гордые наши соколы
Смело стремились вперед.
Богатыми урожаями
Шумело колхозное поле,
Стахановскими рекордами
Гордился советский народ.

Но самая близкая сердцу
И самая яркая дата,
Сверкающая над столетиями,
Как утренняя заря, —
День всенародных выборов
В Верховный Совет депутатов,
День всенародной радости —
Двенадцатое декабря...

Это был год величия
Сталинских пятилеток.
Пусть же к нему достойная
Славная смена придет.

Видишь — Кремлевские башни
Ярко сияют светом.
Громче играйте, оркестры,
Славьте минувший год!

С ним попрощаемся дружески,
И через полминуты
Новый, такой же славный,
Встанет в победный ряд...
Пойте, веселые скрипки,
Новому шумно салютуя.
Встанем, друзья. На башне
Куранты уже гремят...

Вот они — новый и старый,
Словно родные братья,
Торжественная минута
В комнату к нам вошла.
И закреплена смена
Дружеским рукопожатием
На подвиги, на геройство,
На сталинские дела.

Так сменяются часовые,
Пароль передав друг другу,
Так сменяются паровозы,
Чтобы поезд бежал вперед
К солнечным новым победам,
Как к благодатному югу...
Полночь.
Поднимем бокалы.
— Да здравствует новый год!

1937 г.

М. Шошин

СВИДАНИЕ

Утром парк безлюден. На главной аллее появился высокий, сутулый старик с железной тростью в руке. Он тяжело опустился на скамейку, огляделся по сторонам. Сидел долго, концом трости вдавливая камешки в землю. Солнце жгло ему спину.

Невдалеке показалась опрятно одетая пожилая женщина. Клеенчатая сумка, набитая покупками, оттягивала ей плечо.

Старик приосанился, на одутловатых бледных щеках выступили розовые пятна.

— Марья Прокофьевна! — несмело окликнул он женщину.

Она обернулась и долго вглядывалась в него.

— Усов!.. Нешто не помнишь? — сказал старик.

— А-а-а!.. Вспомнила... Иван Семеныч!

— Ну, так вот, присядь.

Старик указал ей место подле себя.

Марья Прокофьевна приставила сумку к ножке скамьи и присела.

— Не узнала меня, — с укором сказал старик, покручивая седые усы. — Видать глаза у тебя попортились.

— Только из-за этого с фабрики ушла.

— Годы наши такие. Я тоже теперь на покое.

Марья Прокофьевна знала, что дом у него на окраине, — прежде он никогда сюда не заходил, — и подивилась:

— Каким ты чудом здесь очутился?

— Поговорить с тобой пришел. Себя объяснить хочу...

— Помню, как ты мне объяснялся. Чую, теперь оправдываться станешь. Только не приму я пустых оправданий. Лучше забудь про все.

— Не забывается, Марья Прокофьевна. И в газетах, и по радио и куда не придешь, — везде про «нее». Слушаю ли, читаю ли, все думаю: «усовская порода».

Марья Прокофьевна покачала головой и снисходительно усмехнулась:

— Ишь ты, какой породистый!

— А что? — горячо вскинулся старик. — Чай, помнишь, какой Иван Усов работник был!

— Ты тоже, наверно, помнишь, какая Марья Спирина ткачиха была. В тебя ли, в меня ли удалась — пустой разговор. Учили ее работать не мы с тобой. Она работница новая, нас с тобой за пояс заткнет.

И, помолчав, добавила удовлетворенно:

— Не нарадуюсь я на нее.

— А мне-то вот каково? — огорченно проговорил Усов. — Страдаю... Расступись сердцем, скажи ей — может она примет меня.

Марья Прокофьевна устремила задумчивый взгляд в просветы листвы. Усову показалось, что она набирается решимости отказать ему.

— Ты не беспокойся, — заговорил он торопливо, — мне ничего не надо, только бы посидеть с ней да о себе дать знать. Неужели я на старости лет такой отрады не достоин? Ведь, все-таки родитель!.. Ты хоть под конец жизни не сердись...

Марья Прокофьевна с сожалением посмотрела на него:

— Да не сержусь я... Дивно мне то, что ты поздно надумал... Хватился монах, когда смерть в головах!

— Спохватишься, — вздохнул Усов. — В семье, говорят, и смерть красна, а я один, как перст... Умру, неделю никто не спохватится... Показаться хоть бы ей... Она будет знать меня в лицо, помру — вспомнит! Как никак, а родная кровь...

— Что ж, я скажу-у...

Марья Прокофьевна встала, с трудом подняла сумку.

— Накупила всего — не дотащишь, — заметил Усов. — Дакось, я...

— Невелика ноша — донесу, — остановила его Марья Прокофьевна. — Так я попробую ей сказать. Может и примет. Только, как тебе объявить? ты ведь далеко живешь.

— Очень просто: завтра утром я опять сюда приду.

— Завтра нет... Я хожу через день.

— Тогда послезавтра.

Усов встал, опираясь на железную трость.

— Только ведь откажет. Ты, поди, набила ей уши с малых лет, что отец...

— Хуже, Иван! За всю жизнь я ей ни одного слова о тебе не сказала... Может, она по стороне и слыхала, кто ее отец, а я не говорила, нет.

Он в волнении глубоко вдавил конец трости в землю, но, спохватившись, выдернул и заровнял ямку подошвой.

...Усов был уже помощником ткацкого мастера, когда Маша, придя из деревни, поступила на фабрику. Он заметил ее, плотную, расторопную девушку, с деревенским румянцем на щеках, с длинной пепельно-русой косой.

Усов был на виду, имел власть в цехе, одевался чисто, собой был недурен и на его заигрывания Маша отвечала смущенно-ласковой улыбкой. Потом он часто выходил к фабричным воротам встречать ее. Издалека завидев новый синий картуз, с форсом надвинутый на правый висок, она незаметно оставляла подруг.

В парк тогда рабочих не пускали. Фабричная молодежь ходила гулять в орешник — туда, где теперь Ленинский поселок. Они садились на лужайку и говорили о фабрике, о расценках... Маша жаловалась на плохой уток, на рваные основы, на приставания табельщика и мастера. Усов пропускал это мимо ушей и переводил разговор на другое.

Он похвалялся большим умением исправлять станки и особенно вниманием к нему молодых ткачих, стараясь вызвать в ней ревнивую любовь к своей, важной усовской особе. Он добивался ее любви упорно, долго и не раз, лаская ее, говорил:

— Вот дадут мне квартиру — и к попу...

— Холостому квартиру не дадут, — смеясь, намекала она.

— Мне дадут: я кой-где руку подбил, кой-кого подмазал. Дело верное!

На другой год после их первой встречи, под осень, она открылась ему, что тяжела.

Усов растерялся. Маша напомнила об обещаниях.

— Завтра пойду... наступлю на горло. Квартиру, чтобы немедленно, — с притворной решимостью проговорил он.

Но с того дня перестал выходить к фабричным воротам. У него были другие намерения.

Он мечтал стать мастером, хотел иметь домик с мезонином и палисадником из точеных балясин.

Зимой в мясоед он женился на портнихе с богатым приданым, дочери трактирщика, засидевшейся в девках.

Маша родила девочку и на третий день вышла на работу.

Городской поп дал девочке хорошее имя — Надежда и записал отчество по крестному — Петровна. Крестным отцом был Петька — четырнадцатилетний сынишка квартирного хозяина.

Петля нужды захлестнула Машу. Из общей пришлось уйти и снять угол, а это лишний расход. Хозяйская дочка доглядывала за ребенком и носила его к матери в проходную будку кормить, — и за это надо было платить.

Через несколько лет Усов выбился в мастера, при встречах с Машей в корпусе отворачивался, а на фабричном дворе далеко обходил ее. Он построил обширный пятистенок с мезонином и палисадником и вдруг обнаружил, что стремиться больше не к чему. Предел его мечты был достигнут.

Жена прихварывала, детей не родила, в доме стояли тоска и тишина.

Проходила жизнь, умерла жена, пришла старость, — в старости Усов почувствовал себя совсем неладно.

Он страдал от пустоты и холода — того холода, который проникает в душу одиноких и несчастных стариков.

Когда прогремело имя дочери, когда наградили ее орденом, он потерял покой, — в нем загорелось честолюбие отца. Усов каждый день ходил в читальню, просматривал все газеты и незаметно совал в карман ту из

них, в которой писали о Наде. Газеты писали и о Марье Прокофьевне: сравнивали ее жизнь с жизнью дочери. О нем же не было ни слова...

Усов ходил по городу, болтался в людных местах и при каждом удобном случае заявлял, что он отец Нади, но люди или отделывались шутками, или пропускали мимо ушей.

Чувство невозвратной утраты сломило его. Два месяца он пролежал в постели, ждал смерти. Весной он поднялся тихим и покорным. В нем проснулась не эгоистическая, а естественная любовь к дочери и он припал к ней сердцем и мыслями. Ему хотелось видеть дочь с глазу на глаз и заявить себя отцом, чтобы она знала и помнила.

Он вытащил из сундука старинный суконный костюм, вывел пятна, почистил его на ветру. Достал из шкатулки серебрянные часы, завел ключиком, выверил ход.

В назначенный день старик встал рано, почистился, примолодился и долго стоял перед костюмом, который висел на стене под белой накидкой. «Надеть или не надеть?» — думал он. — «Наденешь, а она не примет». И представил себе, как он понуро плетется домой мыкать свое горе. Встречаются знакомые и, видя его в праздничном костюме, насмешливо окликают: «Иван Семеныч, куда это ты принарядился? Жениться что ли задумал?» Ну, что им ответить? И он решил не надевать костюм.

В парк Усов пришел спозаранку.

Сегодня он стал ждать Марью Прокофьевну с другой стороны — от дома, а не с базара.

Марья Прокофьевна появилась поздно — в начале девятого.

— Поздно ты, голубка, встаешь, долго прохлаждаешься, — нежным укором встретил ее Усов.

— Ай давно сидишь? — живо отозвалась Марья Прокофьевна.

Лицо ее было сегодня свежее и откровенно выражало доброе состояние духа.

— Давно не давно, но порядочное количество времени, — важно ответил Усов, причисливший себя к интеллигенции своей фабрики с тех пор, как выбился в мастера.

В нем проглянул прежний Усов, заносчивый, сухой, шероховатый.

Марья Прокофьевна почувствовала это и замолчала.

Усов спохватился, отбросил старую манеру важничать и с нетерпением просто спросил:

— Ну, как?

— Да вот так, — в отместку сухо и важно ответила Марья Прокофьевна, — говорила я ей, и решили мы тебя принять. Приходи сегодня к пяти. Знаешь ли, где мы живем?

— На Ленинском поселке, а улицу, дом не знаю.

Она сказала адрес и собралась уходить.

Усов встал, большой, костистый, сутулый и пошел рядом с ней — круглой, невысокой ростом.

— Ну, вот и у меня сегодня на душе праздник, — глухо проговорил Усов, склоняясь к ней и оттого еще больше сутулясь,

— Эх, Иван Семеныч, — вздохнула Марья Прокофьевна и посмотрела на него через плечо. — Промахнулся ты тогда, на богатство позарился, взял с ним не девку, а бледную немочь... Ой, как обидно мне было! Но все я перенесла и на свои кровные гроши подняла Надю.

— Промахнулся, верно, Марья Прокофьевна, — с чувством сказал Усов, — и тем себя обездолил и тебя обидел. Но зато ты теперь счастливая. По-другому бы я сейчас поступил, но после драки кулаками не машут. Второй молодости не перейдешь. Э, да что говорить... Тяжело одному. Сегодня только вот передо мной все маленько просияло...

— Говори, еще Надя умна и к людям внимательна; другая не признала бы, — просто высказала Марья Прокофьевна тяжелую истину.

Ровно в пять часов вечера потный и возбужденный Усов в праздничном костюме, при часах, позвонил в квартиру дочери. Дверь открыла Марья Прокофьевна:

— Проходи сюда...

Усов торопливо вошел в прихожую и встал, чтобы отдышаться. Он стоял перед Марьей Прокофьевной смущенный, тихий, сгорбленный, склонив голову на бок, словно просил сожаления и ласки.

Марья Прокофьевна безразлично посмотрела на него и, показав рукой на ближнюю дверь, медленно пошла в конец коридора.

В квартире было светло и тихо.

Усов вошел несмело, бесшумно.

У окна, спиной к двери, стояла молодая женщина в розовом платье без рукавов.

«Высокая, в меня...» — обрадовался Усов и как-то сразу осмелел. Теплый июньский ветер перебирал ее густые кудрявые волосы.

Усов вздохнул. Надя резко обернулась и смело подошла к нему.

Он низко поклонился ей, торопливо схватил и крепко пожал руку. Надя показала ему на стул, сама опустилась на диван.

Он поискал взглядом орден у нее на груди и, не найдя, подумал: «К платью, видно, не прикалывает».

— Жаркий денек сегодня, — сказал Усов, приложив платок к запотевшему лбу.

— Жаркий, — согласилась Надя.

Старик вгляделся в лицо дочери. Темные, длинные брови придавали ее лицу оттенок прямоты, серьезности. Нежный загар покрывал лицо, шею и руки.

Надя молчала, как будто чего-то выжидая.

Усов опять приступил к разговору:

— День ото дня все жарче и жарче... В корпусах, поди, теперь духота, просто дышать нечем...

— Я не сказала бы, — подхватила Надя, — у нас теперь хорошая вентиляция.

— Ве-е-нтиляция! — понимающе отозвался Усов: — Вентиляция шибко притесняет духоту, но все-таки летом в корпусах томительно. По себе знаю... Но вот как это вы управляетесь? — он развел руками и опустил их на колени, — на ста восьми станках? Не представляю!

— Вы на автоматах работали? — осведомилась Надя.

— Не приходилось, но видать — видал.

И Надя стала рассказывать. Говорила она неторопливо, но охотно.

Марья Прокофьевна принесла на подносе электрический чайник, тарелку с булочками, вазу с карамелью, стаканы и вышла. Надя принялась разливать чай.

Теперь заговорил старик. Да, он тоже был хороший работник, неплохо знал свое дело, но времена были другие — тяжелые, черные... И люди другие... И все-все другое...

Надя внимательно слушала его. Поощренный ее вниманием, он разошелся и рассказал, какие были нравы, распорядки на фабрике при хозяине...

Усов сделал неловкое движение и облил чаем полу пиджака.

Надя сделала вид, что не заметила его неловкости, и громко спросила:

— Как вы живете?

Он показал палец:

— Один-одинешенек.

— Я знаю, что один... но материально?

Старик поднял на нее изумленный взгляд.

— Может быть, нуждаетесь? Пенсия ведь, наверное, небольшая.

В голосе ее звучала искренняя забота. Она смотрела прямо и ждала ответа.

«Ведь ты за всю свою жизнь копейкой им не помог», — сказал он себе и склонил голову, скрывая стыд.

— Вы не стесняйтесь, говорите... Мы вам поможем.

— Не надо, — умоляюще проговорил старик, — хватает мне... Не надо...

— Что вы... что в этом особенного?

— Я не за этим пришел.

В комнату впорхнула девочка, приподнявшись на дыбках, заглянула Наде в глаза:

— Мы с бабушкой в парк идем.

Старик впился в нее взглядом.

«Вот и Надя, наверно, такая же была — шустрая и звонкоголосая, — подумалось ему: — а теперь и я бы ходил с внучкой гулять... Какое счастье я оттолкнул от себя! И ничего нельзя вернуть!..»

Мать поправила тюбетейку на голове девочки и нежно коснулась ладонью румяной щечки.

— Идите!

Усов тяжело поднял голову и произнес напряженно:

— Надежда Ивановна!

— Петровна, — машинально поправила Надя.

Он сделал усилие, но не мог выдавить из себя этого слова.

— Надя, — почти криком сказал он: — Надя, я хочу отписать вам свой дом! Наследников у меня больше нет...

В глазах ее мелькнуло что-то похожее на досаду, но она сдержала себя и только смущенно, сострадательно улыбнулась:

— Куда же нам его?

Молчание.

— У нас еще хорошая квартира... Рядом с фабрикой, — поспешно добавила она: — Вы не обижайтесь!..

— Я не обижаюсь... Вы еще молоды и думаете, что молодость продлится век...

Надя ласково и виновато посмотрела ему в глаза:

— Ну, посудите сами... На что мне дом?

Резким и коротким движением старик отодвинул чашку и встал:

— Дом известно на что...

— Осенью я учиться уеду. Мама тоже не возьмет... У нас есть квартира...

— Дом никуда не уйдет. Он постоит, подождет, пока вы учитесь...

Усов хотел открыться дочери в том, что мучит его и будет томить до гроба, но у него сдавило горло. Он отвернулся и стал жадно глотать воздух. Ему хотелось знать, винит ли его Надя за свое бедное, безотцовское детство, но что-то останавливало его заговорить об этом.

Может, у нее и мыслей таких нет. Может он в ее глазах просто жалкий человек.

В открытое окно ворвался теплый ветер и принялся листать тетрадки, лежавшие на подоконнике. Усов поспешил к ним и прижал коробочкой, попавшейся ему под руку.

— Внуч... дочкины? — сбивчиво спросил он и смутился.

— Нет, ей еще рано. Это я занимаюсь, — спокойно и громко объяснила Надя, чтобы замять неловкость.

Зазвенел телефон.

Надя сняла трубку, слушала минуту-другую, потом заговорила:

— На полчаса? Не больше? Но мне скоро на смену... Многовато у меня, я замечаю, стало заседаний. — Она подняла руку, взглянула на часы: — Это время уйдет на дорогу, расстояние немалое... Пришлете машину? Только сейчас же!.. Жду-у...

Надя положила трубку. Усов взял кепку, находя неудобным дольше оставаться. Спросил:

— Ночную сегодня работаете?

— Да. Ночь.

Помолчали.

Старик кивнул на фотографии:

— Нельзя ли мне с вас карточку на память? Умирая глядеть стану!

— Зачем вы так говорите? — мягко возмутилась она.

— А что? — недоуменно произнес Усов.

— Надо о жизни говорить!

Надя сняла со стены один из снимков, быстро надписала и отдала ему.

Он взял снимок осторожно, двумя пальцами:

— Вот спасибо!... Пожелаю здоровья, счастья и всякого благополучия... Кто знает, доведется ли еще свидеться?!.

Надя протянула руку для прощанья, но тут же опустила ее: за окном раздался гудок автомобиля.

— А я вас подвезу до дома, — проговорила она, ласково улыбаясь. Ей приятно было порадовать старика прогулкой на автомобиле.

Надя зашла к мужу, в прихожей сняла с вешалки легкий плащ и, кинув его на руку, направилась к выходу.

Усов пошел рядом с ней. «На зятя бы надо посмотреть», — подумалось ему.

— Стало быть, учиться осенью поедете? — заговорил он на лестнице. — Ну, счастливо. Желаю больших успехов. А муженек отпускает?

— Об этом не может быть и речи, — скромно и твердо ответила Надя. — Да он и сам едет повышать квалификацию.

— А кем он сейчас работает?

— Сменным мастером.

Вышли на улицу. Надя ловко исчезла в машине. Старик с трудом протиснулся в дверцу и рухнул на си-

денье. Надя искристо улыбалась, удобно откинувшись в угол. Машина вздрогнула и рванулась вперед.

— Первый раз довелось... — сказал Усов. — Кажется, что я лечу.

— Неужели? — удивленно отозвалась Надя. — Я уже не помню, какое испытывала ощущение, когда ехала на автомобиле первый раз. Давно это было... Когда я только что стала пионеркой...

Машина, быстро миновав людные улицы, промчалась по зеленой окраине и выскочила на огороды.

Усов здесь очнулся и виновато сказал:

— Маху мы дали... Надо обратно. Вот мой домик, — показал он пальцем, — желтый с мезонинчиком и палисадничком, пять окошек по лицу...

Шофер повернул, проехал немного, остановил машину, открыл дверцу.

— Так вот вы где живете?!. — с веселым изумлением воскликнула Надя. — Теперь буду знать... Как здесь хорошо: просторно, зелено...

— Хорошо! — подтвердил старик. — Приходите ко мне в гости!.. Очень буду рад.

— Приду, — живо согласилась Надя, — мне здесь нравится.

— Вот и приходите, — задыхаясь от волнения и радости, звал старик, — приходите, приходите с дочкой, с мужем, с Марьей Прокофьевной... У меня здесь ягод скоро много будет...

— Ага... ладно... — Надя кивнула и улыбнулась на прощанье.

— Все приходите, буду ждать...

Шофер круто развертывал машину, чтобы ехать обратно, а старик кричал дочери:

— Жда-а-ть буду-у-у...

Машина скрылась.

Усов добрел до палисадника и устало опустился на скамейку.

Вынув карточку из кармана, Усов долго вглядывался в нее, отыскивая в лице дочери свои черты, потом вспомнил: «Надя что-то написала».

Он повернул снимок обратной стороной и прочел: «Отцу. Надежда».

Он поцеловал эти слова и заплакал.

А. Благов

НАШ ГОРОД

Много блеска у майских высот,
Но у города больше красот;
Город ситца широк и богат:
Трубы с тучами вровень стоят.
Необъятны его корпуса,
Многозвучны машин голоса.
По просторным цехам я иду.
Их работа на полном ходу:
Разноцветный сатин предо мной
Зацветает, как поле весной,
Льются метры тугих миткалей,
Серебристого снега белей.
Я встречаю, как близких своих,
Знаменитых прядильщиц, ткачих,
Чьи прославленные имена
Повторяет с любовью страна,
Чьи победы отсталых зовут
На высокий стахановский труд.
Любо вечером после станков
Слушать ласковый голос стихов.
За окошком заря все бледней.
Я склоняюсь к тетрадке моей,
И нежданная рифма легка,
И встает за строкою строка.
Снова золото дня надо мной,
Захватил меня город родной;
Я плыву в говорливой волне,
Сотни лиц улыбаются мне:
Пусть на плечи ложатся года,—
Жизнь прекрасна, душа молода!

СТАХАНОВЦАМ

Январский вечер
Темноголубой
Огни и звезды
Поднял над собой,
Над говорливым городом.
Огнями
Дома перекликаются с домами.
Дорогой светлой
Весело итти.
Мильоном искр
Ложатся на пути
Серебряные, синие снежинки.
Сплошной зарей
Горят цеха — «Дзержинки»,
И фонари
На полотне двора
Огромные качают веера.
Она растет —
Волна железной речи,
Она плывет,
Она лётит навстречу.
И вот я обнят
С четырех сторон
Ритмичным гулом
Тысяч веретен!
Отряды шпуль —
В готовности, в порядке.
Добротной нитью
Хвалятся початки,
Что были глыбой
Хлопковой вчера:
Их буйным вихрем
Крутят ватера.

Вы смело вышли
В путь соревнованья.
Быть впереди —
Прекрасное желанье,
Взять от машины

Все, что можно взять,
Среди отличных
Самым лучшим стать.
Пройдут ли мимо
Ваших достижений,
Не зная сердцем
Радостных волнений,
Что будут дни
Все ярче и полней.
Все крепче воля,
Потому что в ней,
Как время наше
Молодо и ново,
Горит живое
Сталинское слово.
И в эту ночь
Я долго не засну.
Ночь приведет
Подругу — темноту,
А с ней — работу
Близкую, родную,
И допою я
Песнь мою простую:
О лучших людях
В нашей стороне.
О незакатном солнце,
О весне.

1936 г.

———

А. Лебедев

НОЧЬЮ

Холодный дым декабрьским вечером
Плывет к озябнувшей звезде,
Лучами маяков отмечены
Дороги на морской воде.
Волна залива злая, хлесткая
Заплескивает на ветру,
Взлетают ленточки матросские,
Снежинки падают на грудь.
Четыре раза склянки дрогнули,
Волны сильней и ветер злей;
Мне кажется, что волны стронули
Гранитный остров с якорей.
И он плывет, качая медленно
Борта тяжелых берегов,
Вращая мерно и уверенно
Литые лопасти винтов,
И, поднимая флаг изрубленный
Ножами злобных непогод,
За мир полей и бухт республики
Кронштадт идет в ночной поход.

ЧАСОВОЙ

Глухая ночь ползет с залива, —
Проверь винтовку на посту,
Крутого берега извивы
И сердца собственного стук.

Проверь винтовку и патроны
И зорко вглядывайся в тьму,
Не подползают ли шпионы
Беззвучно к складу твоему.
Тогда, не видный в маскировке,
В завесе плотной темноты,
Горячим голосом винтовки
Заговори с врагами ты.
Но прежде свиста первой пули
Нажми индуктор на столбе,
Сигналь тревогу в карауле
И требуй помощи себе.
Еще враги не все разбиты, —
Так береги машинный гул
Страны, нам вверившей защиту
И нас пославшей в караул.

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ

Что же нужно для побед на море?
Это — чтоб со стапелей земли,
Пеною пушистой борт узоря,
Выходили в море корабли.
И во славу берегов покоя
Нам нужна солидная броня,
Точное оружие морское,
Мощь артиллерийского огня.
Нужно знать нам кораблевожденье
Так, чтобы уметь пройти везде,
Знать науку мудрую сражений
На соленой вспененной воде.
Это есть! Дает страна родная,
Верфи действуют на полный ход,
Крепнет сила твердая морская,
Словно лес, растет советский флот.
И еще дает страна родная
Качества, ценнейшие в боях,
Всем сынам, которым поручает
Вахту в океанах и морях, —

Это — смелость в час суровый жизни,
Это — волю, что всего сильней,
Это — сердце, верное отчизне
И не изменяющее ей.

СОЗДАТЕЛЬ ФЛОТА

Судостроители к нему несли расчеты,
И с верфей шли рабочие к нему.
Шли люди, посылаемые флотом
К сиянью звезд, прорезавшему тьму.
А он вникал и в чертежи линкоров,
И в ход линкоров, в планы новых баз;
За башнями — Москва, бессонный город...
Перевалил давно за полночь час.
Он говорил, и нам в труде суровом
Все становилось ясным до конца.
И окрыляло сталинское слово
Своим спокойным мужеством сердца.
Уверенные в правоте и в силе,
Наполненные волею крутой,
Мы из Кремля родного выходили
В Московский день, от солнца золотой.
Клянутся командиры, уверяя,
Что Сталин вел эскадры по волнам,
Что «он такие вещи знает,
Которые ясны лишь морякам!»
А инженеры говорят: «Да что там,
Он знает точно все искусство штурманов,
Но где же обучился он расчетам
Непотопляемости крейсеров?»
И говорят рабочие: «Мы знали,
Что очень хорошо ему знаком
Новейший способ обработки стали, —
Как будто сам стоял он за станком».
...Вождя и созидателя работа
В любое дело вплетена, как нить.
Он всюду с нами! Мощь морского флота
Ни бурям, ни врагам не сокрушить!

МАТЕРИ

Тебе, оставшейся далеко,
За гранями полей и рек,
Не перестать о сыне флотском
Надеждой и тоской гореть.
Моя родная, слов не много,
Которыми могу сказать:
Как я хочу, чтоб без тревоги
Меня могла ты ожидать.
Припомни, снова улыбаясь,
Как шла ты, мной гордясь не зря,
Когда сынов страна родная
Служить послала на моря.
Скажи отцу и близким также,
Что счастье — это наша жизнь.
Стоим морских ворот на страже,
Храним союза рубежи.
И если письма будут реже,
И будет грозен дней прибой,
Не ослабляй своей надежды
Ненужной болью и тоской.
Вернут земле меня пучины,
Пройду сквозь бури и бои
Поцеловать твои седины
И руки теплые твои.



Мы армию нашу растили
в сраженьях,
Захватчиков подлых
с дороги сметем!



А. Благов

РОДИНА

Гул заводский, тракторы, комбайны,
Ширь степная, реки и поля...
Не обнять дорог твоих бескрайних,
Родина чудесная моя.

Ты богата сушей и морями,
Ты сильна семьею трудовой,
Ты не раз встречалася с врагами,
Побеждала в схватке боевой.

Вор полночный под окном стучится,
За хозяйский ломится порог,
Родина, тебе ведь не учиться
Бить врага и вдоль и поперек.

Хочет он назвать тебя рабою,
Бредит он погибелью твоей.
Собирай давно готовых к бою,
Закаленных, смелых сыновей.

Угости по совести, как надо,
Чтобы мог запомнить до конца
Смертный жар советского снаряда,
Меткость большевистского свинца.

22 июня 1941 г.

ДОБРЫЙ ПУТЬ

Снова город фабричный
Шумит, как прибой,
Как в весеннюю пору река:
Батальоны ткачей
Собираются в бой
На фашиста, на злого врага.

Ощетинясь штыками,
Проходят бойцы.
С ними песня — подруга побед.
Наряду с молодыми
Шагают отцы —
Ветераны прославленных лет.

Их дела не забыты,
Их слава жива
На просторах советской земли:
В грозных битвах
Свои трудовые права,
Как святыню, они берегли.

Их в походы водил
Сам Чапаев — герой,
С ними Фрунзе громил Колчака,
И сейчас перед черной
Фашистской ордой
Не изменит винтовке рука.

Рвется к нашей Москве
Оголтелый палач...
Не сломить ему силы стальной!
Встанет вместе со всеми
Ивановский ткач
На защиту столицы родной.

Добрый путь вам, ивановцы!
Бейте врага!
Отомстите за жен и детей,
За колхозные села,
За наши луга,
За красу городов и полей!

Отомстите за все,
Что злодей загубил,
Сторожите на каждом шагу,
Чтобы кроме земли
Для презренных могил
Ничего не досталось врагу!

1941 г.

НАРОД-БОЛЬШЕВИК

Над родиной нашей свободной,
Над всей неоглядной страной
Разносится голос народный:
— На бой! На решительный бой!

Идем мы за правое дело,
За землю, за солнце идем:
Припомнит фашизм озверелый,
Что шутки опасны с огнем.

Он ищет покорных на свете,
Он к легким победам привык,
Ему по-иному ответит
Могучий народ-большевик.

Не будет, не будет возврата
Тому, что должно умереть,
Оковам, разбитым когда-то,
На наших руках не греметь.

Не дрогнет боец закаленный,
Клинок смертоносный остер...
За нами стоят миллионы
Подруг, матерей и сестер.

Они — на полях и заводах,
На фронте священной войны,
В труде и в суровых походах —
Надежная сила страны.

Нельзя, невозможно не верить —
Все честное в мире — за нас.

Исчезнут кровавые звери,
Ударит возмездия час.

Вздохнут племена и народы...
В борьбе неизменно велик —
Под знаменем вечной свободы
Шагает народ-большевик.

1941 г.

ПОБЕДА — ЗА НАМИ

Под солнцем высоким,
В туманные ночи
На фронте не гаснут
Сражений огни.
Пусть будет сегодня
Наш отдых короче,
Пусть будут труднее
Рабочие дни.

Мы знаем одно:
Что победа — за нами,
Она уже всходит над нашей страной;
Живая весна
Запевает ручьями,
Чтоб хлынуть
Широкой, свободной волной.

Мы будем работать
За время такое,
Где черное горе
Дорог не найдет,
За землю такую,
Где счастье людское
Еще небывалой
Красой зацветет.

Вернутся друзья
Из последних походов;
И скажут герои,
Приветствуя нас:

Вы шли с нами рядом
В боях за свободу,
Вы нашей победы
Ускорили час.

1944 г.

1945 ГОД

Друзья мои, мы видим все яснее
В расцвете славы Родину свою.
Но силы наши пусть не охладеют:
В любом труде мы будем, как в бою.

Не мало дней отсчитано суровых.
Переживая горести разлук,
Мы шли к станкам, вставали за основы,
Работали не покладая рук.

В душе не гас огонь соревнованья
Под холодом военных непогод,
И новые высокие дерзанья
Мы понесем в грядущий новый год.

Все ближе к нам победа, все свободней
Ее лучи сверкают над страной.
От всей души привет свой новогодний
Мы посылаем Армии родной...

Мы говорим: земли своей ни шага
Немецким ордам ты не отдала.
Поклон тебе — за стойкость, за отвагу,
За боевые славные дела.

Седой Дунай, кремнистые Карпаты
Уже покорны доблести твоей,
И скоро песни русского солдата
Разгонят мрак берлинских площадей.

Враги пришли к своей законной доле —
У зверя будут вырваны клыки;
Тому порукой — сталинская воля,
Что вдаль ведет победные полки.

СЧАСТЬЕ

Как будто солнце светит по-иному,
Как будто вдвое ласковей оно.
Я прохожу по городу родному,
Мне шлет улыбку каждое окно.

С победой, друг! — читаю я на лицах.
С победой, друг! — мне взгляды говорят.
Победы счастье нам уже не снится —
Оно идет сегодня с нами в ряд.

Его напев звенит в фабричном шуме,
Звенит в полях в весенней красоте,
Цветет надеждой в материнской думе
И в золотой девической мечте.

Оно живет в восторженном привете,
В простом пожатье дружеской руки;
Его несут в своем веселье дети,
В помолодевшем сердце старики.

Дыханьем мая, вольными ветрами
Оно летит по всей родной стране;
Его я славлю лучшими словами,
Что отыскал в душевной глубине.

9 мая 1945 г.

Д. Семеновский

КАПИТАН ГАСТЕЛЛО

Бессмертен тот, кто, жертвуя собой,
Отчизну-мать отстаивает смело.
Он соколом летел на смертный бой,
Советский летчик, капитан Гастелло.
Внизу машины вражеские шли,
Снаряды рвались возле самолета.
Фашистские зенитчики с земли
Обстреливали русского пилота.
Подбитой птицей дрогнул самолет,
Насквозь пробитый вражеским снарядом.
Кругом огонь бушует и ревет
И смерть в лицо глядит зловещим взглядом.
Пилот, ты мог бы выброситься вон,
Но ненависть к врагам в тебе кипела.
Нет, не хотел врагам сдаваться он,
Советский летчик, капитан Гастелло.
— Да, лучше смерть, чем плен! —
И капитан
Свой самолет, объятый вихрем жгучим,
Направил твердо на фашистский стан,
На темные ряды цистерн с горючим.
И все, что было в этот час под ним,
В огне на воздух высоко взлетело.
Мы навсегда любовно сохраним
Большое имя: Николай Гастелло.

1941 г.

СЕСТРА

Облик девушки славной,
Мягкий очерк лица,
Красный крест нарукавный,
Гимнастерка бойца.
Весь народ грозовая
Породнила пора.
Всем бойцам ты родная,
Всем бойцам ты — сестра.
Все душевные силы,
Все порывы свои
Горячо ты вложила
В подвиг братской любви.
Сердце лаской богато,
Много в нем теплоты.
К ранам воина-брата
Тихо склонишься ты.
На великое дело,
На защиту страны
Поднимаются смело
И отцы и сыны.
Подвиг свой совершая,
В их рядах ты идешь.
Вместе с ними, родная,
Ты победу куешь.

1941 г.

СТАЛИНГРАД

Там небо воспаленной раной
Горит над Волгою багряной,
Над городом, одетым в дым.
Там вражьи полчища запнулись
О камни размозженных улиц,
И дальше нет дороги им.
Там под немолчный гром орудий
Клянутся пред атакой люди:
— Родной земли не отдадим! —

Неустрашимы, верны долгу,
Они стоят стальной стеной
За землю русскую, за Волгу,
За город в стороне степной.
За мир, за счастье всей планеты,
Бронею мужества одеты,
Они незыблемо стоят.
И днем и ночью битва длится,
Горит земля, вода дымится,
И хлещет раскаленный град.
И вся земля тебе дивится,
И вся страна тобой гордится,
Герой грядущих илиад,
Непобедимый Сталинград!

1942 г.

НЕЛЮДЬ

Все пожирая жадно, все топча
Слепым копытом, сапогом тяжелым,
Они ползли, ползли, как саранча,
По нашим взгорьям и широким долам.

Еще в ушах гремит их грузный шаг,
Еще в ночном молчаньи кабинета
Все мечется безумный их вожак,
Бессонницей томимый до рассвета.

Он сделал их машинами войны,
Послушными во всем его внушеньям,
И души их до дна развращены
Его нечеловеческим ученьем.

Глашатай мрачной ядовитой лжи,
Он возвестил, что совесть — пережиток.
Он разрешал им казни, грабежи
И ужасы средневековых пыток.

И вот они в краю, для них чужом,
Позорят дев, лишают старость крова,
И все, что мы издревле бережем,
Пята вандала раздавить готова.

Чудовища, они — отцы семейств!
Они подарки шлют своим подругам.
Но щедрый дар добыт ценой злодейств,
И верности обет стократ поруган.

Когда б их жадным самкам увидать
Дела своих домашних и знакомых, —
Как сын-убийца грабит чью-то мать,
Как муж-палач свирепствует в погромах,

Как прячет он в походную суму
Простую куклу девочки советской,
Он даст ее ребенку своему,
Обрызганную кровью... кровью детской!

Еще широко зарево войны,
И ветер жарок от огня и дыма,
Но срок настал: они обречены,
И гибель их уже неотвратима.

О, пусть утрат неисчислимых боль
В нас разжигает ненависти пламя!
О, пусть полки могучих за собой
Ведет любви воинствующей знамя!

Быть человеком — значит быть бойцом
И в недруга вернее, метче целить,
Чтоб истребить железом и свинцом
Двуногую взбесившуюся нелюдь.

1942 г.

ВОЗМЕЗДИЕ

В огне, в руинах Кенигсберг.
Грохочут взрывы. Мститель ярый
Железный гром жестокой кары
На кузницу войны низверг.
От зыбких зарев город розов,
А грозная ночная твердь
Под рев крылатых бомбовозов
Все шлет ему огонь и смерть.

Чем заняты сейчас они,
Те господа, чей сговор черный
Толкал планету так упорно
В орбиту мировой резни?
Те торгаши, чей беспощадный
Холодный деловой расчет
По грудь в крови дорогой страдной
Народы бешено влечет?

Под гул воздушных кораблей,
Под сокрушительные взрывы
Что снится им, рабам наживы:
Трофеи новых прибылей?
Иль тень густая, что покрыла
Предвестьем близкого конца
Тот мир, где властвует горилла
С осанкой важного дельца?

В любой норе, в любой щели
Настигнет страшный час отмщенья
Фанатиков обогащенья,
Корыстных палачей земли.
Та разрушительная сила,
Чей сон встревожили они,
На них же гневно обратила
Свои разящие огни.

1943 г.

* * *

Перекличка писем в край из края,
Страх, надежды — все оборвалось.
Лишь осталась нам перевитая
Синей лентой прядь его волос.

Не звучать осиротевшей скрипке
В милых гибких и худых руках,
Не сиять застенчивой улыбке
На невинных молодых устах.

Но не надо нам тоской томиться
И хранить в глазах ее печать.

Светлыми любил он наши лица,
Не велел в разлуке нам скучать.

Был и он в суровых буднях светел —
Юный воин с любящей душой.
Мужественно грозный час он встретил,
Совершая подвиг боевой.

Он всегда и всюду будет с нами,
И всегда, везде мы будем с ним.
Он придет с изменчивыми снами,
Всколыхнет воспоминаний дым.

Смутны сны, воспоминанья зыбки,
Но всегда нас будут озарять
Тихие лучи его улыбки
И волос рассыпчатая прядь.

1944 г.

М. Кочнев

КУЗЬМИЧ — ПЕЧЕКЛАД

Солнце новой жизни нашу землю озарило — душу человека светлой метой метило. Плохая-то привычка человеку не на роду писана. Оспяные пятна — людям на душу бесправье клало, да подъяремщина. Никаким бы мылом ядровым с себя старое не смыть, кабы жить попрежнему.

В молодом сердце, скажем, у ровесников Октября светлый огонь горит, это и не диво. Сверстникам-то Октября сияла новая заря. Под ее светом росли, учились, все пригодилось в жизни, в хорошем деле. Но вот как тем быть — кто, почитай, полжизни прожил до великой зари?

Поглядишь, ан и старый молодому не уступит. Кости-то старые, а дух молодой.

Вот того же Антона-то Кузьмича Кирпичова печебоя возьмем. В войну-то он немало удивил всех, кто его знал. А доктора второго ранга обескуражил. Не гляди, что дедушка Кузьмич молчун.

Бывало-то говорили про таких: с лысиной родился, с лысиной помрет.

Кто Кузьмичу посадил это пятнышко? Опять те же фабриканты, да их прихлебатели. Разная белая мещанская кость. Дали человеку потешное прозвище: Кузьмич Сморчок — кленовый сундучок. Кузьмич-печегляд— глядит у кого вкусно варят, а у этого кленового сундучка и всего серебра было —-только что медные пуговицы на гаснике.

Тут закорюка-то в другом.

На всю Владимирскую епархию может всего-навсего один такой-то печеклад уродился. Редко приходи-

лось Кузьмичу пиво пить, но зато часто доставалось печи бить. Другого печегнета хлебом не корми, только с печи не гони, а этот нет, — другой печины. Много он печей склал, да мало спал на печи. Печничать-то не в свайку тешиться, тут весь гвоздь, вся удача не в печничной кирке, а в руке. Варежки-то люди носят одинаковые, да руки-то у людей бывают разные. Еще водил с собой Кузьмич молодого печекладца. Не из корысти взял. По просьбе взять-то взял, стало быть, а не торопится окунать подручного, во все тонкости, лето водит за собой, другое водит. Глину ему месит, мнет печекладец, кирпичи подносит Случится позволит старшак молодцу нижний кирпич положить или зеркало докладывать, и это — считай за счастье. Но, чтобы очелок вывести, почать колпак, шатер или обороты с разделкой доверить — лучше и не моли, не проси. Только и ответит: — заломчик склал — и это в счет. А теперь гляди на печь, слушай ее речь, пока я лажу задорожку. Ни за что не даст взять неумелым рукам корневые-то узлы. Все сам: и дутье, и змеевик, и зольник, а пуще, чтобы хайло задалось веселым, с хорошим голосом, когда затопит печея. Такого печебоя, поистине, не учи печи, не указывай подмазывать. Все умел, на что хоть одним глазом посмотрел. Надо, из одной глины собьет печь, да такую печь, что печиво испечь, что лечь спину потереть, потешить старые кости в мороз. Дров брось полено, огонь гудит в трубе по третье колено. Все умел. Хошь складет прокальную, хочешь поставит расписную зеркальную. Складет обжигальную — хоть пенник в ней вари. Молодой печекладец зорко приглядывался, а сразу не раскусит, в каком же кирпиче главный орешек таится — весь секретец печебоя знатного. Спросит другой раз, когда сядет на закурку печник.

— Дядя Антон, где же главный узелок, всего мастерства замок?

Печник покуривает, улыбится сквозь дымок:

— Хоть сто раз рассказывай — печегнет все равно не поймет. И печепар тоже не зацепит, а ты не из таких.

— Толку мало нахожу в печах, а ты лучше учись на кирпичах. Я с Мелентьем обдумывал, царство ему небесное, вот так же, в печеглядах без годка десять

лет выходил. И не каюсь. Спасибо ему, не обнадежил. Отказал мне на всю жизнь свой секретец.

Затянется цыгаркой да подбавит:

— Надо сходить на печище, достать красной печины, да уметь сказать над печиной заветное слово, — вот и козыри в руки и весь печников замок ляжет двугривенным на ладонь, и печничай тогда.

Ах ты какой, тебе бы все сразу. До моего-то секрета надо итти три зимы, да три лета. Отсюда далеко стоит гора Опока, там и ищи! Лежит там пакет, в пакете секрет. Сходить туда никому не запрет.

Вот и спрашивай печного колдуна. Не торопится указать на все корни.

Кто не знал Кузьмича! Тоже подряды-то брал по выбору, не во всяки вороты постучит кирочкой. Пустили слух, а кто? Эти толстобрюхие, печные пустобаи. Мол, коли щами Кузьмичу не угодишь на подряде, он те под под-от бросит голик, а хошь и хуже подстроит — лягушонка посадит в подпечье — после-то ни хлебы ни взойдут, и тепла не жди от такой печи. Чего ни наме-лют балаболки стоя перед загнеткой в кухне. На деле-то, где Кузьмич печь клал — там и пар и жар. Слышал он про голик, только усы поглаживал: ага, мол, испугались, на то я и печник, знаю, под чей зольник подарить голик. Полюбится печекладу хозяин — много не калякает о цене. Лучше других складет Кузьмич и не подорожит. Но в другой дом московским калачом не заманишь печника. А уж, если заманишь — возьмет за работу, что ему хочется.

Сказывали, у какого-то фабриканта в одно время в ситцевой сушилке печь стала дурить. Дрова, как в яму, а тепла от печи мало. Приезжие печники клали. Да не зря стариками сказано: «Не ищи хорошего мастера на чужой стороне, ищи у себя на дворе». Может и не знать бы такой беды, да главный-то управитель по фабрике — «Сэр кошку съел», встрял, ну и помог напортить.

К слову сказать, такая метка не зря прилипла к этому чистоплюю. Сам себе прилепил ярлык. А народ фабричный, он до слова чуткий.

В фабричной конторе сторож старик Гонобоблев дремал у печи в углу, пока там книги-то конторщики не

захлопнут. Для повадности завел сторож кота Михрютку, с белой звездочкой на лбу. С кем же сторожу потолковать, хоть Михрютка и о четырех ногах, а все с ним поповадней. Другой раз потолкует сторож с котом, за ухом его почешет.

Раз Михрютка забрался в шляпу к сэру. Шляпа-то на подоконнике лежала. Добро бы только посидел, а он и следок после себя оставил. Смекнул: посудина-то удобна для такой надобности. Сэр за шляпу, а в шляпе-то кошачий морс. Сэр к сторожу.

— Кто велел в мой кошка сел?

— Вот уж не знаю, ваша светлость сэр, почему кошка сел, не ведаю.

— Больван такой!

— Вот спасибо!

С того дня и пошло гулять по фабрике новое имя — «Сэр кошку съел».

«Кошку съел» по-своему, по-заморски все планы расписал. Душа-то у него была суше ели-сухостоины. На наше-то мастерство и глядеть не хотел.

Младшего распорядителя Миняя Полиэктыча Персикова водил этот сэр за собой на поводу. Персиков-то знал печеклада Кузьмича.

Антон Кузьмич сам приходил рядиться. Брался печь сложить по-своему. И недорого просил, да знать непочтительно глянул на высокое фабричное начальство. «Кошку съел» и говорить не стал с печником. Не приглянулся с вывески передней печник. Персиков послушал этого сэра не к месту и сказал:

— Эх, сундучок, не забудь, это тебе не изба. Нам не пироги печь, а товар сушить.

— А мне что фабрика, что изба, только всей и разницы-то повыше труба. Сделаем, хоть пироги печи, хоть ситец суши, хоть пенник как встарину вари.

Все-таки отказали Кузьмичу. Ну, отказали, так отказали, трудолюбивые руки себе работы найдут.

Сложили печь, как «Кошку съел» пожелал. Затопили. Дыму полна сушилка. Шипит, трещит, ни тяги, ни тепла. Под шатром-то дым коленом, а в трубу-то не хочет. Давай перекладывать аглицкую затею. Переложили. Еще не малую смету вбухали в расход — побольше дыму прибавилось.

Позвать Кузьмича «Кошку съел» не хочет. Да и Персиков теперь понял: где, мол, кленовому сундучку одолеть такую громаду. Тут с планами клали, и то-то жди горький дым глаза вылушит. Кузьмич накинул заботу, зашел в сушилку. Топят. В сушилке, как в овине.

— Ох, гожо, дым-то хорош на аглицкий лад.

И ушел он.

В третий раз переложили. За спасибо-то кто тебе будет. Опять платили.

Ага, обрадовался «Кошку съел», — печь не дымит, в трубе дым воет, дров не напасно. Всем бы печь, да тепла попрежнему нет. Улицу-то не нагреешь ни дровами, ни углем, сколько ни вали в топку.

Обошлась в крупную копеечку новая печь. Сколько ни дулся «Кошку съел», буркнул Персикову: «Эту надо сломать, твой мастер надо звать».

Послали за Кузьмичем. Так тебе и жди, пошел Кузьмич, не тут-то было, не пошел.

После третьего-то поклона, хоть и не больно охотливо, пошел. Фартук глиной крашеный на груди, поскребки, колотушки в ящике-спутничке постоянном. И мастерок с ним.

Может бы вовсе не согласился Кузьмич, да несчастье подхлестнуло. У напарника молодого, стало быть, у Викентья-то Огурцова хибаруха сгорела, а дело-то к осени. Семья Викентьева в шалаше на огороде. Как ты станешь в шалаше зиму зимовать? Не воробей, не совьешь себе жилье под застрехой. А капиталы у Викентья невелики.

Взгоревал Викентий, что теперь делать. Как горе согоревать? На что избу строить?

Антон-то Кузьмич вынул тавлинку, постукал и донце желтым выдеребленным ногтем, почесал в бороде пожелклой:

— Не вешай, Викентий, голову, так и быть выручу. Сложим печь, вот тебе и горе с плеч. Неделю печь будем бить, а в воскресенье пиво пить. Так ли? Ну то-то же!

Пришел мастер на фабрику и спрашивает:

— Ну, как тут у вас?

— Да вот вишь, — дыму много, дров много ест.

Печь заняла полдвора, а толку: ледяная гора. По-

курили. Кузьмич постукал колотушкой по высоким зеркалам, стало было по бокам печи, заглянул под опечье, спустился, осмотрел своды, на потолке побывал. Потом кафтан с плеч — полез в печь. Колпак и шатер не приглянулись ему. А хайло так и вовсе. Все выверил. Спросил — сколько раз перекладывали, сколько мастерам платили, много ли дров сожгли. Персиков-то жалуется на дорогих мастеров, на прожорливую печь. Кузьмич слушает, понюшкой табачку себя нет-нет потешит.

— Да, печь у вас здорова, как собор Покрова. Печь-то, как послушаю, стала не простая, золотая! Годок еще потопить такую обжору — Витовского бору нехватит. Ну так и быть, вылечу печь. — У Кузьмича слово твердо и надежно, как синий обжигной кирпич железнячок.

— Дорого ли возьмешь? — это первей всего важно Персикову. Не глядит, что перед ним мастеровой человек, а не купец.

— Я, знаешь, никогда не торгуюсь. Дело сделано, сделанному делу и цена видна. Сколько тем, столько и мне.

Мыслит Кузьмич: уж полсотни рублей за такую работу всяко положит.

В недельку с небольшим вдвоем, не торопясь, управились с сушильной печью. Покурили, затопили, и честь-честью просушили. Принимай хозяин. Завыла печь, запела, загудело в трубе — брось три полена — огонь во все зеркала под сводами золотым куполом воет, и в трубе плещет по десятое колено. А жару хоть отбавляй, ране воз дров сожжешь, а тут и одной охапки хватит. «Кошку съел» пришел, поглядел, ничего не сказал, только лошадиное лицо стало почему-то темным. Стал считать: высоту, ширину печи, стал дни прикидывать. Велел Персикову рассчитать мастеров по таблице. Персиков послушался «Кошку съел» и выложил: десять целковых обоим.

— Это за такую-то печь? — удивился Кузьмич.

— Недешево. Те месяц работали, а вы только неделю.

— Так, братец, всяко дело измеряется не годами, а добротой своей. Ты вот что цени! Но уж поздно торговаться: печь готова.

Спохватился Кузьмич, что не всякому слову верь. Не всякую честь на золото весь. У хозяина слово — как тонкий лед зыбко, ненадежно. Но дело-то сделано. Не станешь ломать печь. Взяли десятку и пошли с фабричного двора.

— Это все «Кошку съел» назудил. Не лучше купца этот покупной пес. Обвалилось бы в твоей печи чело, застряло бы в трубе помело, — такого счастья пожелал за воротами Кузьмич и хозяину фабриканту, и его большим приспешникам.

Контракту не писали, куда ты пойдешь с жалобой? Да не больно рабочу-то жалобу близко подпускали к казенному столу, к зеленому сукну.

Пуще Кузьмича озаботился Викентий Огурцов. Вот тебе и новая изба! Вся надежда рухнула. На десять-то рублей клети не поставишь.

С тех пор печеклад Антон Кузьмич стал лихо косить на богатые дома. Стряпухи из купецких кухонь и пустили эту побаску о Кирпичеве, благо языки у них с помело: этого, мол, сморчка, печь кормит. А то балаболки не верят, что не печь печебоя кормит, кормят руки. Он, мол, нащелкал немало в свой сундучок. Так и стали печника кликать. Сморчок — кленовый сундучок. Дескать, жаднее его на всем свете не найдешь. Ладно, носил обиду на сердце печник до поры. Но вот Персиков Миней Полуэктыч поставил себе новый дом. Оградой витой обнес. Кусты под окнами, цветы также.

Пришлось хозяину Сундучку кланяться:

— Приди, мол, да устрой печку-то.

Патрикеевна печея догадлива. На этот раз голики подобрала, кои за сундук, кои под сундук, только бы печникам не попались под руку, а то еще обронят в запечье. Опять печь не в печь будет.

— Слава-те христе, завтра новолунье. На новолунье сложат — будет тепло в печи, — утешает себя Патрикеевна.

С печником и Патрикеевне большие хлопоты. Тоже забота! Как же, братец, могут складать печь, посадить пирог — просидит он в печи весь денек. Просидит место — вынешь, в нем тесто. Посадишь в печь крендель молодой, а вынешь с бородой. Пока в печи сидит, постареет, батюшка. Патрикеевна уж больно любопытна,

да затейлива, а пуще стережет, чтобы голик не подсунули.

— Кузьмич, рыжий ты фартук, а ведь ты колдун, это ты сверчков пускал в запечье. Ох и злой ты, все по обиде! Секретный ты человек. Дерешь с людей, никого не жалуешь, — клохочет Патрикеевна.

— Заработать не украсть, Патрикеевна, — посмеивается себе в усы Кузьмич, сам подсматривает Викентию. Склали печь. Кузьмич над бадьей руки вымыл, холщевым фартуком вытирает:

— Затопляй, Патрикеевна!

Нащипал Кузьмич лучинки на растопку. Завыла жара в печи, огонь чище золота, и ни дыминки. Пламя так и пляшет, восемь грив до самого свода так и машут, красным крылом чуть ли не до шатра. Кузьмич поглаживает желтые усы, конечно, не для красы.

А уж как, да почему — это дело Кузьмича. Никакого обману, всякое дело человеком ставится, человеком славится. О чем больше-то калякать. Истопливо сгорело. Хоть калачи, хоть блины пеки. Пятьдесят целковых положил Кузьмич в шапку, пожелал на прощанье доброго здоровья теплой печи: — Стоять этой печи до второго пришествия Христа, да после еще лет триста. Ящичек за плечом, шагает домой, доволен и весел. Не тужи, Викентий Огурцов, вот тебе и новая изба!

У мастеров на этот счет своя песня. Мол, молодчина, Кузьмич, умеешь отличать чин от чина.

С той поры много воды утекло. Не столько любил Кузьмич деньги, сколько уважал свое ремесло, но, конечно, от заработанной честно копейки сам не отрекался.

Молодой растет, старый старится. Елочка под окнами Кузьмича, что на рожденье дочери посадил, высокой елью стала. Миняй Полиэктыч умер давно. Уж и Антон Кузьмич свой сундучок с поскребками, с молотками, с печниковой кирочкой на чердак отнес. Был когда-то гусар, летуном летал, да годы-то не молодят, уж давно в Красную Армию проводил он своих внучат. Без подожка — теперь ни шажка! Домик его на Зеленой фабричной улице. Он да старуха — вот и вся семья у Кузьмича.

Хотя и звали его кленовым сундучком — скупым печником, да что-то от трудов праведных не нажил он при царе дорогих палат каменных. Не о каменных палатах помышлял он смолоду.

Жизнь-то под оконца Кузьмичу повернулась солнечной стороной. И заводы, и фабрики, и палаты каменные — все теперь у народа.

«Кошку съел», как блоха из старой шубы, прыг, скок, давно утек за море, к себе. Без него обошлись, не заплакали.

Стар Кузьмич, заплетаться стал. Станет раскоряки надевать, никак ногой не потрафит в свою колею. Даже наказывал наказ своей старухе: ты, мол, теперь шей про меня пошире невода.

Пришла беда — растворяй ворота. Немецкие захватчики смертную петлю захотели надеть на шею советским людям. Да просчитались. Шея-то у советских людей высока, кость крепка, а душа и того потверже. Выдержечка хорошая нажита, советской властью людям привита. И пуще всякой силы полное доверие своему правительству у народа.

И случилось на этот раз такое. Одну новую школу по вине сорок второго года заняли под госпиталь. Ладно, братец! Школа новая, не зря построена, на трудный-то день она очень пригодилась. Наши строители в завтрашний день заглядывали, когда первый-то кирпич клали в основание. Чем не госпиталь. И свету много, и просторно, и клуб, и сцена, и красный уголок с газетами. И радио в полный голос поет, говорит. И над кроватью у каждого наушники.

Все бы хорошо. Да в одном не задалось. Морозы-то как ударили, печь и задурила. А зима, чай помнишь, пришла злющая, немилостивая. Без хорошей печи и поварам, и докторам горе — ни кашу сварить, ни перевязку вымыть.

Начальник госпиталя догадался: нет ли печников из самих солдат. Как не быть! Нашлись и такие. С превеликой охотой взялись за печь. Мудрили, мудрили — полный госпиталь дыму напустили.

Тут один солдат Советской Армии, наш землячок, рука на перевязи белой, и подходит к доктору. Он тоже горевал около холодной печи.

— Эх, товарищ начальник госпиталя, знавал я печника с нашей улицы — золотого старичка. Уж тот бы нашу печь вылечил. Бознат жив ли. Уходил я на войну, так он еще меня у своей калитки угостил табачком из костяной тавленки.

— Кто таков?

— Да Антон Кузьмич Кирпичов — кленовый сундучок.

И адрес верный рассказал служивый, и как найти, какой улицей ближе проехать к мастеру. Ждать, да гнать некогда. Сели начальник госпиталя и солдат в санки, покатили искать знаменитого печника.

Скоренько нашли жилье его. Вежливо вошли, степенно поклонились.

— Здесь Антон Кузьмич проживает?

— Здесь, товарищи-граждане, он самый, это и есть я... — отзывается с печи седой старик. Сидит на краешке, голые ноги с печи свесил, пятку в печурке греет. За переборкой старуха ворчливая за что-то пилит потихоньку своего коварного супруга, не слышит, что чужие люди у порога.

— Да перестань ты, голубушка, солнышко мое светлое, Пашенька. Куда я ходил, где был — это дело не твое, это дело обчественное. Хоть один раз в жизни, но не послушаюсь я твоей инструкции, хоть ты на меня протокол пиши. Послушай лучше, что добры люди нам скажут. Зачем пожаловали, товарищи командиры Красной Армии?

Те ему свою заботу доложили. Почесал затылок Кузьмич.

— Эх, робяты, что-то поламывает меня нынче, знать к плохой погоде. Эва в трубе-то гуляет ветрило. Ну да так и быть! Только ведь я печник-то дорогой, может слышали про одного кленового сундучка, про скупого печника. Так это я самый и есть во всей наличности!

Как это услышала старуха за перегородкой и перестала своего старика допекать.

— Ладно, дед, заплатим, не обидим.

— За хорошую плату что не выручить. Хоть я и зубы давно съел, а ведь хлеб-то все равно и мне нужен, — говорит старик, сам меж тем кряхтит, но слезает с печи.

Обувает старик сапоги, ноги-то его не слушаются. Полушубок надевает — руки-то в рукава не лезут, за шерсть запинаются.

Однако посошок взял Кузьмич, о трех-то ногах веселее стал похаживать по избе.

Сели, поехали. Доктор и спроси печника дорогой от нечего делать:

— О чем это вы, Антон Кузьмич, дискуссию вели с хозяюшкой.

Кузьмич варежкой с бровей снег смахнул.

— Это, дорогой товарищ, нашему общему делу не касательно. Это чисто моя забота. Не впервой с бабой небо пополам делим, все никак не разделим.

Больше не стал спрашивать старика начальник. О другом завел.

По крутой-то госпитальной лестнице еле-еле вполз стуча посошком Кузьмич, сел на стул, уж он чихал, чихал, кашлял, кашлял. Солдаты сзади-то стоят, свою квалификацию пишут печнику.

— Эх, ну и откопали. Знать из музея привезли.

— Растрясут кости у дедушки, не оберешься греха от бабушки!

— Тише ты, это главный всесоюзный архитектор прибыл. Главный зодчий по заслонкам.

А старичок-то хоть и стар, но чуток. Чихал, чихал, а сам все послушивал, обернулся, да шептунов-то посошком легонько кого по лбу, кого по плечу.

— Чего зубы-то скалите! До войны-то в стахановцах ходили. Так ли! Ну-ка я вас сейчас на своем деле испытаю. Будете у меня за помощников, посмотрю, что вы за стахановцы. Кто в деле мастак — тот и в поле вояка!

Всех шептунов-то велел доктору отдать ему на короткое послушание. Начальник уважил Кузьмича. И попали солдаты в услужение к кирпичному зодчему.

Со всех сторон не торопясь обошел Кузьмич печь. Все высмотрел, все выглядел.

—Да, печь, как печь, только не знаю, кто ее клал.

Сел Кузьмич зодчий против печи на табурет, в руке железо — посошок и давай помощников гонять, что им делать указывает. Посошок-то как живой, так в его ру-

ках и полетывает, только успевай потрафлять за его указкой.

— Повыше чело! Чтоб не задело помело.

— В трубе покруче змеевичок, слушай, что велит вам Кленовый сундучок. А ты, давай, управляй шатер! Ты лезь туда, не бойся, сажа не волк — не укусит.

— Поспевай, солдат, на то ты и на службу взят, ешь казенные пироги, бьешь государственные сапоги! Стахановец красен не словом, а делом. Летай смело!

На помощничках-то рубахи взмокли. Шутя, шутя, нагрел он им спины. Всем работы дал. Кузьмич посошком, знай, выкидывает артикулы, свое вспоминает:

— Вот у меня в те поры был ученик Викентий Огурцов, любо-дорого посмотреть на деле. Сгиб к восемнадцатому году. За большое дело сложил голову. Он за семерых за вас один бы управился. С товарищем Фрунзе с отрядом за хлопком ушел, да так и не возвратился.

С обеда-то до вечера помощничкам две перекурочки маленьких дал, и за это говори спасибо. Зато к ужину печь готова!

Затопили: завыло, запело, заиграло в трубе. Будто заново печь переложил с исподу до верхнего кирпича.

Погладил Кузьмич белую бороду, облегченно вздохнул, а глаза хитрущие:

— Ну, поняли, где собака зарыта?

А те не больно поняли. Сами все делали по указке Антона Кузьмича, а изъяна так и не приметили. Вот вам и зодчий по заслонкам.

— Скажи, дед, свой секрет, — в один голос просят.

— А как же мастеровому век прожить и своего секретца не знать. Есть секретец, а вот не скажу. Отсюда недалеко стоит гора Опока, на горе сарай кирпичный под крышей черепичной. За сараем речка, за рекой местечко. Под тремя кирпичами, за семью сургучами лежит пакет, в нем секрет. Сходить туда никому не запрет.

Ну, товарищи, красные солдаты, желаю, чтобы щи подавали с пылу, с жару, жирного навару. Выздоравливайте же скорей, дубасьте немца, чтобы дух собачий из него вылетел. А я поеду к своей старухе доканчивать канитель!

Ящичек закрыл. Сидит, ждет — сколько за работу дадут. Солдаты его провожать собрались чуть не всем госпиталем.

— Ну, дедок, спасибо тебе. Один всех согрел.

— Не хвали печника сгоряча — пока не вынешь калача,— поклонился старик солдатам, надевает шапку.

А начальник госпиталя ему пачечку червончиков сует за грудинку. Старик пощупал пачечку, хрустят — новенькие, только с молоточка. Схмурил брови, положил на стол. Будто чем-то недоволен, деньги-то не берет, и не говорит напрямки, что, мол, мало за такое дело.

Начальник ему еще половину пачечки. Он и эту отложил. Опять сидит. Начальник было стал еще вынимать свой кошелек.

— Нет, дорогой товарищ, не удивишь ты меня этой щедротой. Я свою плату взял сполна. Мне от всей Советской Армии сказано спасибо. А армией-то кто правит? Кто ее ведет? Сам товарищ Сталин. Вот что дорого: дело обчественное, товарищ. Хорошо, что я пригодился хоть в маленьком, но в обчественном деле. Одно прошу — довезите до дому, а то, чай, старуха у окна сидючи изахалась. Не ушел бы ее Кузьмич к молодухе-завитухе. Завтра умирать, а строга, прямо беда!

И улыбка во все лицо расплылась.

Кирпичного цвета луна всплыла над фабричной трубой. У крыльца-то, когда прощаться стал с печником, все ж-таки спросил начальник госпиталя.

— А что же это, Антон Кузьмич, у тебя за семейная канитель? За что старуха-то журила?

— Как рассудить: у этого дела два конца: один семейный, другой обчественный. Третеводни печь переложил у Марьи Камешковой. Сам-то у нее на войне. Чего уж взять с солдатской вдовы. Сиротское дело. А старуха-то у меня смолоду казначей, любит денежку позвончей, вот и брюзжит, зачем я от денег отказался. А я ей говорю: не касайся, солнышко мое, Пашенька, моей программы. Ты еще не выросла сознанием до этого пункта. Беда-то не одной Марьи касательна. Эта беда и у меня за пазухой.

Спасибо, товарищ начальник, что мастерством моим не побрезговали! Спокойной вам ночи! Вон луна-

то бордовым кушачком подпоясалась, к ведру, к ясному дню! К нашей победе!

* * *

Все годы, пока шла война, каждый солдат уходил из госпиталя, уносил в сердце светлый подарок, увозил его с собой домой или обратно на фронт. А подарок-то весь — не мал, не велик — душевный рассказ своих товарищей о знаменитом печнике — кленовом сундучке, о хорошем советском человеке.

А. Лебедев.

ПУТЬ НА МОРЯ

За главное!
За то, что страх неведом,
За славный труд
в просторе грозных вод, —
Спасибо партии,
учившей нас победам,
И родине,
пославшей нас на флот!

Спасибо тем,
Кто делу боевому
Нас обучил,
Кто вывел нас к морям!
Любимому училищу морскому,
Всем командирам,
Всем учителям!

В горах труда,
упорства и отваги
Мы возмужали;
и в грозе любой
О родине нам говорили флаги,
Летевшие над нашей головой.

В лицо нам били ветры
с океана,
Шла на корабль
гремящая вода,
И, отражаясь в зеркале
секстана,
Сияла полуночная звезда.

Наперекор любым дождям
    и стужам,
Входили в грудь,
    срастались прочно с ней:
Умение владеть
    морским оружьем,
Любовь к работе
    доблестной своей.

Уже гудят-поют под ветром
    ванты,
И о форштевень режется струя.
Идут на море
    флота лейтенанты,
Советского Союза сыновья...
И если ты,—
    о, Партия! — велела
Громить врагов,
    рожденных силой тьмы,—
Нет на морях для нас
    такого дела,
Которого не выполнили б мы!

РАСЦВЕЛИ СИГНАЛЫ БОЕВЫЕ

Расцвели сигналы боевые,
Вьется дыма нить.
Что ж, балтийцы; не впервые
В море выходить!
Не впервой итти на вест нам
В пламени, в огне,
Мы врагу отыщем место
В темной глубине.
Это пламя ярости народной
Что на бой зовет.
Флот подводный, флот надводный
Унесут в поход.
Аппараты к выстрелу готовы,
И готов расчет;
Боевое сталинское слово

Корабли ведет.
Лег вдали рубеж земли любимой,
Матери побед, —
И разят врага неотвратимо
Молнии торпед.
И клянемся мы балтийской славой,
Говорим одно:
«Наше дело — быть и плавать,
Курс врагу — на дно!»
Мать-отчизна, гордость и отрада,
Мы — твой щит и меч,
Ты дала нам зоркость взгляда,
Силу рук и плеч.

ПЕСНЯ О ДЕСАНТЕ

Был приказ немногословный, четкий, —
Подойти и там, где мрак черней,
Выгрузить людей и пулеметы,
Легкие орудья и коней.

Чтобы роты ринулись обвалом
На тылы и станции врагов,
Чтобы в дымном небе засверкали
Молнии отточенных клинков.

Липла к телу взмокнувшая роба,
Бескозырку унесло к чертям,
Мы орудия тяжелый хобот
Бережно спускали по талям.

Кубрика переступивши комингс,
Ослепляемые темнотой,
Водным оглушаемые громом,
Шли бойцы по палубе крутой.

Но, вися на выбленках шторм-трапа
Над такой невиданной волной,
Ни черта не трусили ребята
Боевой дивизии шестой.

Разве нас буруны удержали?
Выгребал вельбот среди камней,
Раздавалось радостное ржанье
Выгруженных на берег коней.

Мы гребли сквозь этот ветер строгий,
Не светил на берегу огонь,
И легла надежною подмогой
На весло армейская ладонь.

Мы не ждали бурного рассвета,
И тебя я, друг, не увидал,
Не узнал, кто, дружбою согретый,
На весло со мною налегал.

ТОВАРИЩУ

Пройдет война.
Мы встретимся, быть может.
Как прежде, дым,
Синея, будет плыть,
Поговорим о том, что всех дороже:
О родине, о славе, о любви.
Как прежде, ночь
Приникнет к переплету,
А за бортом заплещется вода,
Поговорим о родине, о флоте,
О годах битвы, мужества, труда.
Но, если даже глубина нас примет
И не настанет нашей встречи час,
Друзья-бойцы,
Вкушая отдых дымный,
Поговорят о славе и о нас.

М. Дудин

ВОЛГА

1.

Седые тучи тянутся за Волгу.
Предутренняя стынет синева.
Над Жигулями пасмурно. Заволгла
Пожухлая осенняя трава.

Слоистые ползучие туманы
По камышам и плавням залегли.
Сурово молчаливые курганы
Как стражи, поднимаются вдали.

Так вот она — широкая какая —
Встает навстречу, глаз не утоля,
Исконная, родная, золотая,
Никем непокоримая земля.

Над ней кружат медлительные птицы,
Широк размах упругого крыла.

2.

...В огне и громе полыхал Царицын.
Здесь битва небывалая была.

К косматой гриве грудью прилегая,
Выплескивая тонкие клинки,
Сюда рвались драгуны Улагая,
Стремительны, отчаянны, легки.

Земля в огне оранжевых подпалин
Совсем неописуемой красы.
Оставив карту, шел в окопы Сталин,
Покусывая трубку и усы.

И назревала яростная сила,
Она такой живительной была,
Она живых к победе выносила,
И мертвецов к бессмертию вела.

И шли полки. И таяли. И снова
Другие плотно замыкали строй.
Как будто мертвых поднимало слово
И снова в смертный выводило бой.

И в орудийном грохоте и реве
Песчаные дрожали берега,
Уже текли потоки теплой крови
И кровью обагрялися луга.

Заря от дыма, холодея, блекла,
В огне и дыме таяла звезда.
Но громыхали, вышибая стекла,
Из всех калибров бронепоезда.

Но конница летела цепь за цепью,
Ковыль поник от дроби конских ног,
И пробежал, едва заметный, степью,
Оледенивший душу холодок.

И вот слетелись! И у переправы,
С плеча, с размаху ото всей руки,
Наотмашь, в лоб, налево и направо
Разбрасывали молнии клинки.

И офицеры падали. И в муке
Сжимались пальцы (жизнь на волоске),
Раскидывали холеные руки,
Как на распятье, на сыром песке.
Могилы их не стережет ограда,
Их кости дождик медленный сечет.

3.

...Столбы земли встают над
Сталинградом,
Здесь битва небывалая идет
На жизнь и на смерть. И сталь гудит
зловеще
И изрыгает бешенство огня.
И на ветру пронзительно скрежещет
Снарядом раздробленная броня.

И немца в темноте подкарауля,
Через передний край наискосок,
Как иволга, над Волгой плачет пуля
И в бронзовый врезается висок.

Зеленые и синие ракеты
Густую ночь на части в клочья рвут.
И танки, опрокинутые где-то,
Как раненые мамонты, ревут.

С когтистыми распятиями свастик
Они ползут на брустверы и рвы.
На башнях, неуклюжих и горбастых,
Сплошная грязь, полки сырой травы.

Но подпустив вплотную, до-отказа,
И выкрик: «К бою!» и команда «Бей!»
Как факелы, их поджигают сразу
Укрытые засады батарей.

А сколько их сюда нагнали, жадных
До нашей русской матушки-земли,
И сколько их гниет в траншеях смрадных,
И слягут те, что нынче не легли.

Мы заживем. Мы выбьемся! Не нам ли
Судьбу вручила родина свою.
Мы воины! Не маменькины мямли.
В последнем нам торжествовать бою.

Пусть вихрь сильней. И дождь наотмашь
хлещет,
И над землею сладковатый чад.
Над трупами раздутыми зловеще
Медлительные коршуны кричат.

Мы выживем. Хотя б во имя долга.
Мы вырвемся к широкой синеве.
Мы в даль войдем, как в Каспий входит
Волга,
Отстаивая Волгу на Неве.

Да так, чтоб грудь от радости расперло,
Да так, чтоб песня птицею плыла.
Не иволги малиновое горло —
Здесь нужен клекот горного орла.

1942 г.

* * *

Мы сейчас отдыхаем. Трещат и дымятся поленья,
Я чертовски устал, только мысли бегут вперебой,
Как хорош этот отдых, как сладки скупые мгновенья!
Может, лечь и уснуть? Завтра снова тревоги и бой!

Но не спится. Я думаю снова и снова
О тебе, золотой наступающий век,
О земле без траншей и окопов, о новой,—
О тебе, позабывший про смерть человек!

Может, чей-нибудь сын, удивленно глазея
В нашу жизнь, отраженную в рамках витрин,
Может, встретит в прохладном величьи музея
Мой подсумок пробитый и мой карабин.

Что он скажет? А впрочем, я знаю и верю,
Он запомнит, как мы продирались вперед.
Может, завтра я тоже последнюю тропку измерю,
Может, в яростной боли сожмется расплющенный рот.

Поплывут, закачаются синие клубы тумана,
И застынут глаза, широки, глубоки...
Ты проходишь на швейную фабрику. Рано
Над Ивановом враз запевают гудки.

1940 г.

СТИХИ О ШАЛАШЕ

Мелкий лес да болото. В лиловом огне горизонт.
Грохот взрывов, и дыма тяжелая грива;
Через два километра уже начинается фронт.
Облака раздробились в чешуйчатой ряби Разлива.

Нас мороз леденил, к нам в землянки врывалась вода,
Снег крутил, заметал переходы и щели,
Пели пули во тьме, и свистели в ночи провода,
Прорывались враги, и прорваться они не сумели.

Это воинов долг. Это подвиг решительный наш.
Это наше единство, горячая сила порыва.
Это видевший виды из веток сосновых шалаш.
Это Ленин здесь жил, в шалаше у скупого Разлива.

Разжигая костер, он, прищурясь, смотрел в темноту.
В лунном свете вода отливала холодною сталью.
Сквозь застенки и ссылки он нес золотую мечту,
И мечту эту вместе мы сделали крепкою явью.

Мы стоим на часах. Тишина. Из густой темноты
Только звезды сквозь тучи, и ветер, летящий над миром.
...Он обходит расчеты и, проверяя посты,
Подбодряет бойцов, наставленья дает командирам.

Мы не слышали слов, но мы чувствуем наверняка,
Что вот именно так, что иначе никак не бывает, —
Этот голос и жест, и на Запад простерта рука,
Непременно вперед, непременно вперед призывает!

Сквозь огонь и грома, раскаленные зноем дожди,
Через рвы, через надолбы, через траншеи, на Запад!
С нами вместе в походных шинелях вожди!
Горизонт лиловеет, горячею кровью закапан.

Он приходит, победы решительный час.
Трубы грянут тревогу. Дорога крута и открыта.
Ленин вышел и встал. И, прищурившись, смотрит на нас.
Мелкий лес да болото. Бессмертный шалаш из гранита.

1942 г.

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ЛЕБЕДЕВА

Мы должное твоей заплатим славе.
Мы двести раз пойдем в упрямый бой.
Мы до конца гордиться будем вправе
Твоею песней и твоей судьбой.

Туман и шторм. Соленый привкус моря.
Но, крепко взяв за шиворот судьбу,
Всю остроту и накипь злого горя
Включаем мы в свирепую борьбу.

Мы выбьемся из рокового круга,
Снопы огня сырую тьму прорвут.
Друзья уйдут и будут мстить за друга,
И многие обратно не придут.

Романтика! Но кто из нас не трафил
К большим делам, седой простор любя?
В скупых словах анкетных биографий
Мы не законсервируем себя.

Нас в даль несет, в крутое пекло боя,
Где гром и всплеск, и розовый простор.
Друзья твои клянутся над тобою:
Итти любым смертям наперекор.

Они пройдут. И скажут, видя, — вот он,
Знакомый образ, строгий и простой,
Из камня угловатого сработан,
Обтесанный соленою водой.

Но что мне толку в этой грубой груде,
Я вновь хочу с тобою рядом быть,
Опять читать стихи о Робин-Гуде,
По улицам Иванова бродить.

Твой честный взгляд упрям и необыден,
Он навсегда останется со мной.
Легенда пахнет порохом. Не виден
Ее конец за дымкой голубой.

1942 г.

ТОВАРИЩ КОМАНДИР

Шел бой десятый час подряд. Упрямый, жаркий бой.
Летел свинец с боков, и в лоб, и бил наискосок,
И, странно руки опустив, поникнув головой,
Упал товарищ командир на розовый песок.

Мы крепко подружились с ним, что там ни говори,
Прошли сквозь жесткий финский снег в боях рука к руке,
Мы вместе грелись у костров и грызли сухари,
Топили снег и грели чай в походном котелке.

Дружили просто, по-мужски, нам незнакома ложь.
Лишь вера крепкая в себя, ее закон высок.
Мы шли за ним. Мы знали—с ним нигде не пропадешь.
И вот товарищ командир упал плашмя в песок.

Он руку вытянул и сжал, и прохрипел: «Вперед!»
Тогда-то каждого из нас такое взяло зло,
Тогда рванулся и пошел в атаку третий взвод.
Как будто вихрем огневым нас с места понесло.

Свирепа ненависть к врагу, и беспощадна месть.
Она испепелит врага и прах его сметет.
Нам командир сказал: «Вперед!» И мы сказали «Есть!»
И клятв, и слов из нас никто напрасно не дает.

Мы знаем силу этих слов, присягу и устав.
Суровый, честный и прямой язык большой любви.
Откинув голову назад и руки распластав,
Упал товарищ командир, и голова в крови.

Вскипай же, ярость,—твой черед; веди нас в бой и гром,
Свисти и пой в ушах врагов, отчаянный свинец.
Смотри, товарищ командир, мы справимся с врагом.
К тебе, товарищ командир, сейчас подполз боец.

Он осторожно взял тебя и на спину взвалил,
Пополз среди седых камней, перебрался в проход.
Он весь в поту, он изнемог, он выбился из сил.
Но ничего, недалеко, он доползет, спасет.

Он ранен, — все-таки вперед, превозмогая боль.
Кровь проступает сквозь шинели и капает, сочась.
Пусть даже смерть, он все равно останется с тобой.
Еще два шага, только шаг, и вот она — санчасть.

Шел бой двадцатый час подряд. На двадцать первом — стой!
Был каждый пень и каждый ствол изрешечен до дыр.
Враг был разбит, ты нас провел к победе в этот бой,
Мы отомстили за тебя, товарищ командир!

СНЕГ

Метель кружится, засыпая
Глубокий след на берегу,
В овраге девочка босая
Лежит на розовом снегу.

Поет густой протяжный ветер
Над пеплом пройденных путей.
Скажи, зачем мне снятся дети, —
У нас с тобою нет детей?

Но, на привале отдыхая,
Я спать спокойно не могу:
Мне снится девочка босая
На окровавленном снегу.

1941 г

ХОЗЯЙКА

Над землей тишина. Будто мир под метелицей вымер.
Только низкие звезды в морозной горят вышине,
И о чем-то давнишнем задумался старый Владимир
В белогривых сугробах, в хрустящей сквозной седине.

Ночь густа и прозрачна. По белому тракту березы,
Словно свечи, венчают глубокое царство зимы, —

Но рожки запоют и в ответ затрубят паровозы,
И над сказочным лесом недвижные встанут дымы.

Вздрогнут сосны, сверкая пушистым серебряным мехом,
Зазвенят, как стеклянные, мерзлые ветки ольхи.
Прогудят провода. Ветерок пробежит по застрехам;
И на все голоса перекличку начнут петухи.

Заскрипит журавель. И проснется в снегу деревенька
За Владимирским трактом, в почти позабытых местах.
Пелагея Микитишна! Здравствуй, родная! Давненько
Не видал я тебя, а на письма не больно мастак.

Только видятся мне низких окон обмерзшие створки,
Неживые цветы под малиновым светом зари,
Невысокая изгородь, гумна, глухие задворки,
Где на старой рябине, как в детстве, поют снегири.

Вот ты встала с рассветом, едва озарившим окошки,
За водой с коромыслом пошла, не сгибая спины,
Нащепала лучины, начистила на день картошки,
Засветила огонь и поставила в печь чугуны.

Самовар зашумел по-домашнему просто и мило,
Скупо зимнее солнце по стенам рассыпало свет.
Разбудила ребят, посадила за стол, накормила
И отправила в школу, и долго смотрела вослед.

Перемыла посуду и веником вымела сени,
Косарем обрубила затоптанный лед на крыльце.
...Я-то знаю, откуда глубокие скорбные тени
Залегли на твоем умудренном и строгом лице.

Цену радостям нашим я знаю теперь. По-другому
Этот мир принимает познавшая правду душа.
Без труда невозможно, и отдыха нету. Из дому
Ты, надев полушубок, выходишь теперь не спеша.

За амбарами, сбоку высоких ометов, на скотный
Запетляет тропинка и ломкий осыплется наст,
И навстречу клубами тяжелый, ядреный и потный
Запах стельных коров из ворот тебя сразу обдаст.

Глаз да глаз. И за всем уследи, попытай-ка,
Чтобы все по-хорошему, справно, не хуже людей.
Вот и крутишься ты, председатель колхоза, хозяйка,
От зари до зари с затаенной печалью своей.

А тебе пятьдесят. Разве все перескажешь, что было,
Что тебе испытать за нелегкую жизнь привелось!
Как тебя на делянке под ветром студеным знобило,
Как жарою несносной томило тебя в сенокос.

Только снился тебе разукрашенный свадебный поезд,
Тонконогие кони по белым сугробам полей.
За сто верст унеслись. Но чиста твоя светлая совесть.
Ты гордишься душой за своих семерых сыновей.

Отшумели в черемухе, в синей сирени откосы,
Отгорела заря и отпели твои соловьи.
От тяжелых забот посеклись твои русые косы,
От тяжелых работ огрубели ладони твои.

Старый ситцевый плат на затылке стянувши потуже,
Горя горькую чашу хлебнула до самого дна.
В сорок лет овдовела. Поплакала молча о муже,
А сыны разлетелись, — ты снова осталась одна.

Разлетелись. Разъехались. Только дымятся дороги,
Только весточки шлют, только в письмах зовут:
«приезжай!»
А когда тебе выбраться, — рук-то в колхозе немного,
А хлеба-то поспели — пора собирать урожай.

Еще ясны глаза. Работящие руки не слабы.
Мужиков на войну — и по сердцу скрипучий мороз.
Собрались, пошумели в тот день одинокие бабы:
«Что-ж, Микитишна, властвуй. Бери в свои руки
колхоз».

Вот и крутишься ты. На учете любая минута.
Все дела и заботы к тебе навалились горой.
Младший сын утонул в беспощадном сраженьи Гангута,
В Сталинградской земле без тебя похоронен второй.

А овес не молочен. Картошка не убрана. Значит
Не сегодня, так завтра в районе поставят на вид.

Тяжело загрустил, невеселой судьбой озадачен;
Возвратившийся с фронта безногий сосед-инвалид.

Обносились за лето украинских беженцев дети,
И твоим сыновьям под смертельным огнем горячо:
После пули немецкой едва поправляется третий,
И четвертому пуля навылет пробила плечо.

Пятый сын под Мурманском проводит во льдах
караваны,
В Каракумской пустыне пески побеждает шестой...
Зачастили дожди. Над сырой луговиной туманы,
Словно дымные гривы, висят пеленою густой.

Только ночью, одна, ты по-бабьи заплачешь на лавке.
Никуда не уйдешь от нахлынувших каменных слез.
А на утро в амбарах зерно отберешь на поставки
И сама поведешь на Владимир колхозный обоз.

Виснут кисти рябин, словно крови прозрачные сгустки,
И в цветных сарафанах вишневые стынут сады.
Тянут утки над медленной Клязьмою. Хрустки
Под негреющим солнцем в стеклянной оправе пруды.

Может, лучше тебе на недвижном осеннем просторе,
Где тропинки бегут, золоченой листвою шурша, —
Помогаешь другим, и свое забывается горе, —
Неизбывной любовью прекрасна простая душа.

Это жизнь. Это правда. Скажи, мне, откройся, откуда
Эта сила твоя, что всегда остается с тобой.
Мне ведь меньше досталось. А сердце сковала остуда,
И мне стыдно сейчас пред твоей бесподобной судьбой.

Все идет у тебя по-хозяйски, расчетливо, к месту,
Не заметит никто ни сомнений, ни страхов немых, —
Ребятишек одела, нашла инвалиду невесту,
Раньше всех по округе закончила сев озимых.

По пригоркам покатым поземка клубится по следу,
Снежной пылью дымится морозная мутная даль.
Сам Калинин в Москву вызывает тебя на беседу
И вручает тебе за сынов дорогую медаль.

Поклонилась ему и сказала: «Спасибо». Иначе
Ты об этом решила, раздумав в дороге вчера:
«Вот увижу его, расскажу ему все и поплачу,
Как, мол, хочешь суди,—а на отдых старухе пора».

Он смотрел на тебя поседевший, сутулый, усталый
От бессонных ночей, от великих и малых забот.
И от этого взгляда, от этого голоса стало
Хорошо на душе и прибавилось силы. И вот

Замелькали в дыму семафоры, огни, остановки,
Провода по дороге от крепкого ветра гудят,
Пять часов прождала на вокзале на станции Новки
И взяла в детском доме троих беспризорных ребят.

Обжились, пообвыкли. Растут золотые ребята.
Вон румянец какой, а глаза-то горят, погляди.
Им с тобой хорошо. Материнской любовью богата,
Ты их выведешь в люди. Пусть счастье их ждет
впереди.

Зашумит водополье по нашим полям и равнинам.
Все дороги до дому промоет крутая вода,
Старший сын — капитан, что геройски дрался под
Берлином, —
На побывку собрался и скоро приедет сюда.

Сколько радости будет. Засветится солнышко в доме.
Засияет твое, до последней морщинки, лицо.
Воробьи на дворе расшумелись чего-то в соломе, —
Уж не едет ли кто, не вбежит ли сейчас на крыльцо.

Ты выходишь на волю одна через темные сени.
Полный месяц над полем плывет в голубой вышине.
На сугробах лежат одинокие тени,
И печальные вербы в пушистой стоят седине.

И душа твоя снова для мира и счастья открыта.
Невысокие окна в цветы обряжает мороз.
Снег на тракте скрипит под упругим ударом копыта.
Конь храпит на подъеме. Трубит на путях паровоз.

1945 г.

Дм. Прокофьев

РАССКАЗ О ГЕРОЕ

Сбивая крупные немецкие арьергарды, пятнадцатая Сивашская дивизия двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорок третьего года вышла к Днепру в районе Лоева. Уставшие от непрерывных боев и походов, бойцы батальона майора Соколова к вечеру расположились на окраине небольшой деревни, в пяти километрах от реки. Они пробирались сюда заболоченными лугами, и не только приданная батальону артиллерия, но и обозы остались где-то позади. Бойцы имели при себе лишь то, что могли унести сами. Солнечные дни сменились хмарью. Из низко нависших туч, обложивших все небо, почти непрерывно сыпался мелкий дождь. Несмотря на сравнительно еще теплое время, люди зябко поеживались в насквозь промокших и побуревших шинелях. А разводить костры было строжайше запрещено.

Пулеметная рота гвардии лейтенанта Калабина устроилась в риге, заполненной соломой и еще не обмолоченными снопами пшеницы. Посредине, около самого входа находился небольшой ток с плотно утрамбованной землей. Набросав на него соломы, бойцы тут же легли, близко прижимаясь друг к другу, чтобы скорее согреться. В риге было уже совсем темно, но по тому, как быстро разместились люди на этом небольшом пятачке тока, Калабин только сейчас понял, что это все, что осталось у него от пулеметной роты.

С правого берега немцы обстреливали деревню редким, но методическим артиллерийским огнем и некоторые снаряды рвались где-то совсем близко. Дверь риги то открывалась, то закрывалась сама собой, точно кто-то выходил и входил в нее, невидимый в темноте.

Вскоре от командира батальона прибежал связной. Он сообщил Калабину, что получен приказ командира полка: сегодня ночью второй батальон, в который входила и пулеметная рота Калабина, первым начнет форсировать Днепр.

— Майор приказал, — сказал связной, — отобрать у всех бойцов плащ-палатки и набить их соломой.

Выслушав приказ, Калабин обратился к командирам взводов, стоявшим рядом:

— Слышали?

— Слышали, — ответили они.

— Выполняйте.

Тишина, стоявшая в риге, сменилась оживлением. Кто-то влез уже наверх и сбрасывал оттуда солому. Другие бойцы, толкаясь, растилали плащ-палатки, вязали продолговатые мешки. Третьи несли тонкую, гибкую лозу, которая заменяла недостававшие веревки. Весть, принесенная связным от командира батальона, волновала всех бойцов.

— Только лучше вяжите, — говорил Калабин. — На воде будет поздно доделывать.

— Да уж сделаем, товарищ гвардии лейтенант, — отвечал кто-то из темноты. — Постараемся... Сами, чай, поплывем.

К нему подошел командир взвода Иванов.

— Сколько? — спросил Калабин.

— Всего тридцать две плащ-палатки.

«Значит, столько же и людей, — подумал командир роты. — Негусто. И пулеметов нехватает... Ну, ничего, ничего, — повторил он то самое слово, которое обычно произносил в тяжелые минуты и которое он почему-то считал для себя спасительным. — Ничего, чорт возьми, переплывем и удержимся. Обязательно удержимся!»

В ригу вошел сам командир батальона. Он на одно мгновенье осветил фонариком занятых работой людей. Калабин встал и пошел к нему навстречу.

— Идите сейчас же в деревню, — сказал майор, — и достаньте проводника. Он должен показать нам дорогу к Днепру.

— Есть, достать проводника,—откозырнул Калабин.

Он взял с собой двух автоматчиков, вышел из риги и его сразу же обступила густая тьма. Кругом было

тихо, безветренно. Белые хаты едва проступали из темноты, хотя до них можно было достать рукой. Калабин шёл по безмолвной улице, не зная, в какую хату ему постучаться. Он здесь никого не знал, как никто не знал и его. Тогда он остановился, решительно приподнял и отставил ворота, сделанные из тонких жердей, и направился в ту самую хату, возле которой остановился. Он поднялся на ступеньки крыльца и постучал в дверь. Никто не отозвался. Постучал второй раз. В хате послышались неторопливые, шаркающие по полу шаги.

— Кто там? — послышался настороженный голос.

— Откройте, свои...

Отодвинулся засов, упал со стуком навесной крючок, и дверь отворилась. Калабин первым вошел в хату. Его обдало запахами жилья и свежего хлеба. Хозяин зажег маленькую, без стекла лампочку, стоявшую на столе. При каждом движении огонек вздрагивал, и на стенах, на потолке покачивались неяркие тени. Окна были завешены самотканными половиками. На широкой лавке лежала неприхотливая постель, на которой, видимо, спал старик, разбуженный Калабиным в этот неурочный час.

На печке виднелось лицо старухи.

— Что вам, сынки, надо? — спросил хозяин, склонив набок голову и стараясь заглянуть Калабину в глаза.

Старику было не менее шестидесяти лет. Он был седой, с большой гладкой лысиной, блестевшей от огня лампочки как облупленное вареное яйцо. Длинная и пушистая борода закрывала ему почти всю грудь.

— Вы может покушать хотите? — спросил старик.

— Спасибо, папаша, — сказал Калабин, — есть мы не хотим....

— А то борща всыплю.

— Не надо, — отмахнулся один из автоматчиков, вдыхая в себя непреодолимо вкусный и раздражающий запах свежего хлеба. — Мы после зайдем, когда освободимся.

— Ну, ладно, после, так после, — согласился старик, опять глядя на Калабина, дожидаясь, что скажет ему этот высокий и широкий в плечах человек.

— Папаша, — сказал Калабин, — я гвардии лейтенант, командир роты. Я хочу, чтобы вы показали нам дорогу к Днепру. Только такую, где бы могли пройти и повозки.

— Хорошо, сынок. Это я могу сделать. Места знакомые.

Он надел залатанный пиджак, старый картуз и, отойдя в сторону, стал обуваться в лапти.

— Спрятал я, сынок, сапоги-то, — сказал старик, точно догадался о мыслях Калабина. — При немцах в лаптях ходил... А сапоги спрятал. Боялся отнимут. И поросенок в яме живет. Тоже через немцев света не видел. А вот корову не уберег, вчера угнали...

Он поглядел на печь. Оттуда послышалось тихое всхлипывание.

— Плачет моя старуха, никак успокоиться не может....

Когда старик оделся и подошел к столу, чтобы погасить лампочку, старуха сказала:

— Не забудь, возьми палку, а то упадешь. Ночь-то вон какая темная. А палка тебе светить будет.

— До свидания, бабушка, — откланялся Калабин. — О дедушке не беспокойтесь, он скоро вернется.

— При вас, милый, какое может быть беспокойство? Ведь я о вас даже богу молилась, чтобы скорее вернулись.

Старик взял палку с выжженными по ней узорами и первым направился к выходу. Калабин и автоматчики вышли за ним. Темнота была хоть глаз выколи, а старик шагал твердо и уверенно, как днем. Видимо, и в самом деле ему светила палка.

Калабин явился к командиру батальона и доложил, что нашел проводника. Майор пожал старику руку и сказал:

— Вы можете показать дорогу к Днепру?

— Пойдемте, покажу.

— Своих людей оставьте здесь, пусть скорее заканчивают набивать плащ-палатки, — обратился майор к Калабину. — Я возьму других автоматчиков.

И вот старик впереди, что-то ощупывая своей палкой, за ним майор и Калабин, а позади пять бойцов отправились к Днепру. А их всех сопровождал неугомон-

ный, как просеянный сквозь сито, дождик. Они шли кустами, раздвигая влажные ветки, лугом, на котором были разбросаны маленькие озерца. Старик, что-то нащупывая своей палкой, изредка повторял:

— Сюда идите, сюда...

Они миновали кусты и вышли на открытую поляну, покрытую мягкой отавой.

— Ну, вот, сынки, мы и пришли. Вот он и Днепр наш, — старик вскинул перед собой палкой.

Но никто из шедших за ним, как ни старались, не могли различить в темноте реки. Возможно, и сам старик не видел Днепра, а только знал, где он, или привычным ухом слышал едва уловимый плеск его волны.

Все повернули к стоявшему недалеко стогу сена.

— Давайте, отец, присядем тут и покурим, — сказал командир батальона. — А вы, гвардии лейтенант, берите трех автоматчиков, пройдите до самого берега, разведайте его крутизну и найдите более удобный спуск к реке, а я пойду приведу сюда батальон.

До Днепра оказалось не более двухсот метров. Берег всюду был обрывистый, подточенный волнами. Гремя плащ-палаткой, Калабин нашел отлогий спуск, сошел к самой воде.

На противоположном берегу ходил немец. В темноте угадывался огонек его папиросы.

— Товарищ гвардии лейтенант, может, попугать немца? — спросил один из автоматчиков. — Ходит, сволочь, как по своей земле.

Калабин промолчал.

— Я, конечно, понимаю, — сказал боец, — что этого делать нельзя, себя обнаружишь. Но какого он чорта ходит так нахально?

— Если понимаешь, значит, нечего и говорить, — заметил строго Калабин. — А этот немец скоро отходится. Ему и на том свете будет икаться от днепровской воды.

Шум приближающихся шагов прервал разговор. Это шел батальон. Калабин выслал навстречу автоматчика, а сам пошел к стогу сена. Вскоре туда подошел майор.

— Отведите и расположите роты, — сказал он Ка-

лабину. — Четвертая — справа, шестая — слева. Пятая разместится здесь, уступом назад. Каждой роте придайте по пулеметному взводу. — Потом тише добавил: — Сегодня не форсируем Днепр.

— Почему? — так же тихо и удивленно спросил Калабин.

— Таков приказ из корпуса. Перед самым выходом сообщили. А мы уже принесли с собой набитые плащ-палатки.

Калабин провел роты до берега, указал им участки. Командиры рот отдали приказания командирам взводов расположить людей фронтом к реке и приступить к окапыванию, а сами вместе с Калабиным вернулись на командный пункт батальона. Майор повторил, что форсирования сегодня не будет и пояснил, что, вероятно, нужна более тщательная подготовка. Бойцы, устали, артиллерия и боеприпасы еще где-то позади.

— А точно, товарищи командиры, — сказал майор, — я сам не знаю. Никаких подробностей из штаба полка не сообщили. Может быть, и там нет этих подробностей. От вас я требую только одно: следите строже за тем, чтобы днем ни один боец не высовывал из окопа голову. Немцы не должны нас заметить. А теперь идите в свои роты. Если будут какие дальнейшие указания, вы их получите. Гвардии лейтенанту Калабину через час вернуться ко мне.

Командиры рот разошлись по своим подразделениям.

Как было приказано, ровно через час Калабин вернулся на командный пункт батальона.

— Забирайтесь сюда, — сказал ему из-под стога майор.

Калабин с трудом влез в уже совсем негнущейся от дождя плащ-палатке.

— Окапываются бойцы? — спросил майор.

— Уже заканчивают. Но во всех окопах выступила вода. Подстилают сено, хворост... Люди совсем промокли.

— Да, погодка, чорт бы ее побрал. Как в наказанье... Опять не отдохнут бойцы.

Сами уставшие в постоянных хлопотах, они незаметно забылись в коротком сне, а когда проснулись, не-

проницаемая темь несколько посерела. Приближался рассвет. Пришли бойцы хозяйственного взвода и принесли в термосах завтрак.

— Скорее разносите, — приказал майор, — бойцы хотя немного согреются.

Командир батальона и Калабин позавтракали, но спать уже больше не пришлось. Немцы начали обстреливать берег. Видимо, они все-таки услышали неосторожный стук лопаток.

Роты были расположены всего метрах в семидесяти и Калабин весь день провел на командном пункте батальона, ведя наблюдение за противоположным берегом Днепра. А вечером был получен приказ — сменить расположение. Батальон переместился на полтора километра вправо. Берег тут был извилистый, еще более заболоченный, покрытый местами высоким камышом.

Калабин находился в шестой роте лейтенанта Белова, проверял готовность станковых пулеметов, когда с командного пункта батальона позвонили и приказали ему немедленно явиться туда. Калабин взял автомат и, держась за провод, чтобы не сбиться с дороги, отправился на командный пункт батальона. Встретивший его майор, сказал:

— Оставьте за себя командира первого взвода. Вы будете готовить переправу. Таков приказ командира полка. Сейчас же возьмите из пятой роты бойцов, повозку и перевезите к Днепру набитые соломой плащ-палатки. Затем оставьте себе двух бойцов, выберите место и оборудуйте КП, откуда и будете регулировать переправой. Задача ясна?

— Вполне, товарищ майор, — ответил Калабин, едва сдерживая в себе радостное возбуждение от того, что, наконец-то, начинается настоящее дело.

Не теряя ни одной минуты, он взял бойцов, послал за повозкой и, когда она подошла, приказал погрузить набитые соломой плащ-палатки и направился к берегу Днепра. Там он нашел отлогий спуск к реке с густыми зарослями ивняка по сторонам. Более удобного места нельзя, кажется, было и найти. Сложили плащ-палатки в кусты и прикрыли ветками. Когда все было сделано, Калабин отослал обратно людей и повозку, оставив с собой двух автоматчиков.

...Где-то далеко слева шел крупный бой. Оттуда доносились глухие артиллерийские выстрелы. Калабин лежал в камышах и курил, накрывшись плащ-палаткой, пока бойцы рыли для него и телефониста окоп. Мысли непроизвольно возвращались к тому, что должно скоро совершиться. Вспомнил и весь свой пройденный путь по дорогам войны, отца с матерью, живущих в далеком отсюда Иванове, откуда он после окончания школы ФЗУ при комбинате искусственной подошвы был призван в ряды Красной Армии.

— Ваше задание выполнено, товарищ гвардии лейтенант, окоп готов, — прервал его размышления подошедший автоматчик.

Калабин поднялся и вместе с бойцами направился в батальон.

Они шли вязким от воды лугом. Потом стали попадаться какие-то кусты, заросли камыша. Они долго петляли в темноте, наконец, поняли, что сбились с дороги.

— Товарищ гвардии лейтенант, давайте где-нибудь пересидим до рассвета, — сказал боец. — Потом скорее найдем своих. А так можно далеко зайти...

Это был, собственно, единственный выход. Они вошли в камыш, выбрали посуше место и легли. Один боец сейчас же уснул, а вскоре уснул и другой. Только Калабина не могла свалить усталость.

Над рекой стоял густой туман.

— Ребята, вставайте, уже светает,—толкнул Калабин автоматчиков, когда посерело в воздухе.

Бойцы вскочили с той готовностью, какая бывает только у людей на фронте.

Оказывается, они находились в небольшой балочке, по дну которой протекал ручей, поросший камышом. Калабин поднялся кверху и заметил вдалеке идущих двух бойцов. Это были ординарцы командира батальона и начальника штаба.

— Где КП батальона? — спросил Калабин, когда они подошли ближе.

— Перейдите через этот гребешок и все.

Калабин рассмеялся. Пролежать ночь в камышах и не знать, что командный пункт батальона находится совсем рядом.

Калабин сидел вместе с майором и изучал по карте лежащий перед батальоном участок правого берега. В это время из штаба полка явился связной и передал майору прошитый черными нитками самодельный конверт. Командир батальона вскрыл конверт, быстро пробежал глазами по бумажке и, отпустив связного, сказал:

— Ну, вот, гвардии лейтенант, и дождались...

— Что такое? — в счастливом возбуждении спросил Калабин, заранее стараясь догадаться о содержании полученной бумажки.

— Теперь, кажется, начнем. Сегодня ночью доставят четырнадцать лодок.

Майор придвинул к себе карту. Калабин также склонился над ней, следя за карандашом в пальцах майора.

— Их доставят вот сюда, в эту балочку, она идет параллельно нашей...

Продолговатое, скуластое и красное от загара и ветров лицо Калабина осветилось веселой улыбкой, идущей из крупных темносерых глаз.

— Она мне знакома, товарищ майор, я же там ночь провел.

— Ну, да, она самая... Только лодки свалят вот здесь, метров шестьсот от берега. Возьмешь бойцов из пятой роты и перенесешь лодки к самой переправе. Но в воду пока не спускай.

— Все будет сделано, товарищ майор, — сказал Калабин. — Только разрешите взять катушку провода.

— Зачем?

— Я пошлю бойцов, и пока светло, они протянут этот провод к берегу. Ночью люди будут ходить, держась за него. И не собьются с дороги, и скорее дело пойдет.

— Это правильно, — сказал майор. — Сейчас прикажу, чтобы принесли провод.

Калабин отобрал двух наиболее ловких и расторопных бойцов, рассказал им, что надо сделать.

— Ползти придется по-пластунски, чтобы вас не заметили немцы. Доберетесь до берега и там закрепите конец провода.

Часа через полтора вернулись бойцы и доложили, что провод подведен к самому берегу и закреплен.

— Надежно? — спросил Калабин.

— Как приказали, товарищ гвардии лейтенант!

В полночь по телефону сообщили, что лодки на месте. Калабин взял бойцов, перебрался через невысокий гребень, разделявший балочки, и по проводу прошел вместе с бойцами туда, где свалили лодки. Это были большие, сделанные из толстых досок рыбачьи лодки, густо когда-то просмоленные, но сейчас уже несколько рассохшиеся. Видимо, на них уже давно не выезжали на рыбную ловлю.

— На каждую лодку по восемь человек. Идти совершенно тихо. И держаться за провод. Иначе собьетесь... Я сам буду находиться на берегу. Подносить по одной лодке и держать интервал.

Лодки перенесли к берегу и укрыли самым тщательным образом, так что их нельзя было заметить не только с правого берега, но даже если днем погода разведрится и расчистится небо, то их невозможно будет увидеть с самолета.

И вот наступила последняя на этом берегу ночь, полная безмолвного и деятельного напряжения. В эту ночь никто не заснул.

Калабин находился на командном пункте батальона, когда майора срочно вызвали в штаб полка. Уходя, он сказал:

— Чувствую, гвардии лейтенант, что сегодня обязательно начнем.

Он вернулся быстрее, чем можно было предположить.

— Ну, как? — спросил Калабин.

— Поздравляю, — и майор пожал ему руку.

— Значит, форсируем?

— Да. И первым начинаете вы.

— Благодарю за доверие, товарищ майор, — сказал Калабин, становясь в положение «смирно», хотя, может быть, этого и не надо было делать, потому что в темноте майор едва ли мог это заметить.

— Командир полка приказал: в двадцать четыре ноль-ноль, на имеющихся четырнадцати лодках, без единого выстрела вы со своей пулеметной ротой и двумя взводами шестой стрелковой роты лейтенанта Белова должны переправиться через Днепр, захватить линию обороны противника, с последующим выходом к опуш-

ке рощи, и удержать плацдарм до подхода подкрепления. С вами будет находиться мой заместитель старший лейтенант Лысенко. Сигнал для начала форсирования — трассирующая пуля с КП полка в сторону противника.

Майор помолчал. И эта минута молчания показалась Калабину бесконечной.

— Разрешите выполнять приказ командира полка? —сказал Калабин, радуясь тому, что ему доверили первому форсировать Днепр. Он хорошо понимал, какую трудную и опасную задачу взвалили на его плечи. Но он так же был полон уверенности, что выполнит ее.

— Ну, желаю удачи, гвардии лейтенант.

Калабин построил свою роту вместе с приданными ей двумя стрелковыми взводами и направился к Днепру, к тому самому месту, где вчерашнюю ночь он сложил и замаскировал в кустах лозняка рыбачьи лодки. Погода не улучшилась. С низко нависшего неба, невидимого в темноте, все так же сыпался мелкий дождь, но теперь он казался как нельзя кстати. В эту ночь он будет их надежным помощником.

Днепр неумолчно шумел, на песчаный берег взбегали волны, лизали его и откатывались обратно, чтобы взбежать вновь.

Тихо, стараясь не шуршать кустами, бойцы вытаскивали большие, тяжелые лодки и спускали в воду, метрах в двадцати пяти одна от другой. Калабин собрал командиров взводов и передал им содержание приказа, полученного от командира батальона. Затем указал, какой взвод, где будет находиться и какие должен занять лодки. Отдавая приказание, Калабин рассчитывал так, чтобы во взводах, находящихся на флангах, были станковые пулеметы. Если немцы обнаружат лодки и откроют огонь, наши пулеметчики должны открыть ответный, прикрывающий огонь.

— Сам я буду находиться в центре боевых порядков, за третьим взводом, — сказал Калабин. — А сейчас разведите людей и расположите по отделениям против каждой лодки.

Надо было все предусмотреть заранее, ничего не забыть и не упустить. Калабин знал, что как только лодки покинут берег, так прекратится с ними всякая связь.

Он не сможет уже отдать какое-либо дополнительное приказание.

А за Днепром была полная неизвестность. Никакой разведки не производилось. Наблюдения же с этого берега мало что дали. Только и был замечен один крупнокалиберный пулемет. И выходило так: все, что есть у немцев перед участком батальона, можно будет узнать лишь тогда, когда люди вступят на правый берег, когда они столкнутся лицом к лицу с врагом. Поэтому надо было быть готовым к тому, чтобы все решать в ходе самого боя, ориентироваться на месте.

Опасения Калабина не были напрасными и он не преувеличивал трудностей выполнения предстоящей задачи. Позже он узнает, какая неудача постигла первый батальон, начавший форсировать Днепр одновременно с ними на соседнем участке. Немцы молча подпускали лодки к самому берегу, а затем почти в упор открывали автоматный огонь по нашим бойцам. Так никто и не достиг берега, и обратно вернулась всего лишь одна лодка.

Тревожимый предчувствиями, Калабин не знал тогда этого. Но чем сильнее волновали его возможные последствия, тем настойчивее он думал о том, все ли он предусмотрел. И снова начинал объяснять и проверять, часто поглядывая в ту сторону, откуда должна была появиться одинокая трассирующая пуля на совершенно черном небе.

Он спустился с берега. Привязанные лодки тяжело покачивались на волнах. Калабин заметил, что в некоторых лодках было много воды. Нет, это не от дождя. Он осмотрел их, насколько позволяла ему темнота ночи, и нашел, что четыре лодки сильно текли. Он приказал заткнуть щели предусмотрительно захваченной паклей и выделить в каждом отделении специального бойца, который бы, если будет такая необходимость, отчерпывал из лодки воду во время переправы. Потом он вызвал связистов.

— Катушку оставьте на берегу, а конец провода закрепите в лодке. Если мы опрокинемся, придется вплавь добираться, а разве катушку удержишь? Мы же тогда без связи останемся.

А сигнала все еще не было.

— Закурите напоследок, товарищ гвардии лейтенант, — сказал кто-то из бойцов, подавая ему кисет.

Калабин свернул папиросу, и в это самое время, точно провели по коробку спичкой, в небе прочертила красноватую дугу трассирующая пуля. Калабин бросил папиросу и скомандовал:

— По лодкам!

Хрустя по песку ботинками, бойцы побежали к воде.

Калабин ощупал пистолет, планшетку с картой, ракетницу, заткнутую за пояс, и сел в свою лодку, в которой уже находились заместитель командира батальона старший лейтенант Лысенко, пришедший перед самым сигналом, два ординарца, два телефониста и гребец, коренастый, отважный волжанин.

Лодки бесшумно отходили от берега, чуть виднеясь на поверхности реки. Всплеск работающих весел незаметно сливался с плеском волн. Только изредка, едва уловимо, раздавался посторонний глухой звук. Это вычерпывали котелками из лодок воду. Калабин повернулся к связисту, сидящему на корме:

— Привяжи мне за пояс конец провода. В случае опрокинемся, — так не потеряем его.

Лодки плыли неровно, вразброд, слева несколько отставали, что беспокоило Калабина. Но сделать он уже ничего не мог. Никакую команду теперь не отдашь. Приходилось надеяться, что гребцы разойдутся и нагонят, выйдут на линию правого фланга.

До противоположного берега метров семьсот. Судя по карте, он был крутой и высокий. Но и вода, и низко нависшее небо так плотно слились, что невозможно было различить хотя бы слабые его контуры. А вскоре пропал из виду и левый берег. Люди, сидевшие в четырнадцати лодках, теперь находились между темной, ничего не отражающей водой и еще более темным небом, кропившим все так же мелким дождем. Лодки были как маленькие, зыбкие и ненадежные островки. Они держались пока только потому, что находившиеся в них люди сидели спокойно. Но как долго будет продолжаться это спокойствие?..

Думая об этом, Калабин всем своим существом хотел лишь одного: как можно скорее добраться до пра-

вого берега. Ведь каждую минуту могло все резко измениться. То, что их немцы заметят около берега, он в этом даже не сомневался. Он сам же видел огонек папиросы и слышал, как насвистывал немец, патрулируя берег. Но пусть это будет не слишком рано, чтобы успеть, несмотря ни на что, уцепиться за берег, почувствовать под ногами землю, с которой их потом уже будет трудно сбросить.

Когда отплыли уже метров четыреста, слева послышался неясный шум, а потом Калабин уловил: «Спасите».

«Опрокинулась лодка», — с горечью и сожалением подумал он.

На этот шум немцы сейчас же открыли пулеметный огонь, а вслед за ним заработала и артиллерия. Снаряды, вспенивая воду, рвались между лодок. Гребцы изо всех сил нажимали на весла, стараясь как можно скорее прорваться сквозь артиллерийский огонь. Теперь уже нечего было опасаться нарушить тишину, которая сопутствовала им раньше, — воздух сотрясался от разрыва снарядов и неистовой трескотни крупнокалиберного пулемета. Опрокинулось еще три лодки, захлестнутые водой. Что стало с людьми — никто не знал. Может быть, они и выплыли, отнесенные далеко течением, а может быть, и погибли.

Но вот, наконец, свершилось то, что так нетерпеливо ожидал Калабин: справа, почти одновременно, несколько лодок подошли к берегу, бойцы выпрыгнули на песок и с криком «ура», строча из автоматов, бросились к немецкой траншее, которая находилась в метрах пятнадцати от воды вверх по отлогому берегу. За ней начиналось ровное песчаное место, поросшее редкими кустами лозняка, а метрах в двухстах находился уже основной берег — очень высокий и обрывистый, но тоже песчаный. По краю его проходила вторая траншея с блиндажами и дзотами. Хотя это стало известно несколько позже...

Все стало явным. Покров тишины был сброшен. Огонь пулеметов и автоматов с треском разрывал на части темноту ночи. И хотя лодки приближались к берегу, как приближается к нему косая волна, и попрежнему отставал левый фланг, огонь был достаточно

дружным и более сильным, чем вели немцы. Появление наших бойцов для них, кажется, было полной неожиданностью.

Но артиллерия противника делала свое дело. Когда Калабин находился уже метрах в пятидесяти от берега, взрывом снаряда опрокинуло ехавшую рядом лодку.

— Держись, ребята, — крикнул Калабин, — сейчас пришлю за вами лодку. Давай, жми скорее! — обратился он к бойцу, сидевшему за веслами.

Однако не отъехали и традцати метров, как длинной очередью крупнокалиберного пулемета, словно пилой, срезало напрочь у лодки нос. Сидевший на нем телефонист с аппаратом, был убит.

Ничего не оставалось делать, как прыгать в воду. Вспомнив, что к его поясу привязан конец провода, Калабин крикнул:

— Помогайте тянуть провод!

Он был в плащ-палатке, и она сейчас распласталась над ним, как тяжелые, намокшие крылья, которые уже не в силах теперь поднять того, кому они принадлежат. И все же несмотря на плащ-палатку, на привязанный к поясу провод, Калабин плыл первым, обгоняя и старшего лейтенанта Лысенко, и бойца-волжанина, и телефониста с ординарцем, которые помогали тянуть провод.

Как только Калабин вышел на берег, отвязал от пояса провод, проверил, здесь ли планшетка с картой, и с радостью нащупал уцелевшую ракетницу. Он сейчас же зарядил ее и выстрелил. В темноте, в сторону противника, взвилась зеленая ракета. Это был условленный сигнал того, что он вступил на правый берег Днепра. Одновременно он обозначил ракетой и свое местонахождение. На ее зеленый свет должна открыть огонь наша артиллерия, заранее приведенная в боевую готовность.

Но этой же ракетой Калабин осветил и себя, и едва не поплатился своей жизнью. Над немецкой траншеей мелькнул ствол винтовки, раздался выстрел и пуля прошла ему по подбородку. Калабин лег на землю, невольно хватаясь рукой за подбородок, а другой вынул уже приготовленную гранату и бросил в немца.

Кругом было все так же темно и приходилось ориен-

тироваться только по звуку голосов, чтобы узнать, где были наши, а где — немцы. Слева лодки запаздывали и, опасаясь быть захваченным немцами, Калабин подался вправо. Там бойцы уже приблизились к траншее и завязывался рукопашный бой. За ним побежали и старший лейтенант Лысенко и связист, таща за собой провод. Гребец остался у лодки, а ординарец Калабина поехал спасать тех людей, которые просили у них помощи, цепляясь за опрокинутую лодку.

Когда они остановились, Лысенко разорвал индивидуальный пакет и перевязал гвардии лейтенанту подбородок. Неловко двигая головой, точно взнузданный, Калабин побежал к бойцам. В темноте трудно было понять, что происходило в траншее. Там шла рукопашная схватка. Бойцы пустили вход и приклады, и лопатки, отжимая немцев то влево, то вправо. Бой перемещался из стороны в сторону, как прибрежная днепровская волна.

Но вскоре подошли остальные лодки. Теперь соединились обе группы, и это облегчило на некоторое время положение. Оставив заслон справа, Калабин устремился влево, стараясь освободить всю первую траншею. Так бились около часа. Наконец, немцы не выдержали и бежали из первой траншеи.

— Вперед! — скомандовал Калабин.

Но им преградил дорогу немецкий пулемет, находившийся в дзоте и молчавший до сих пор. Он открыл по нашим бойцам ливневый отсечный огонь, не давая возможности выбраться из траншеи. Чтобы не терять ни одной минуты, Калабин побежал с группой бойцов вправо по траншее, по которой бежали немцы. Он понял, что она вела к другой линии обороны.

Вдруг он споткнулся и упал в квадратный выем, с более глубоким дном, чем в самой траншее. В этом выеме, вероятно, был немецкий наблюдательный пункт. Он был тщательно замаскирован кустами лозняка. Это понял Калабин, собственно, тогда, когда случайно наткнулся руками на телефонный аппарат в кожаном футляре. Эта неожиданная находка была очень кстати.

Калабин отсоединил телефонный аппарат и послал его с бойцом старшему лейтенанту Лысенко, который находился на берегу, возле лодок. И пока Калабин про-

должал бежать по траншее, старший лейтенант уже связался с левым берегом и доложил командиру батальона, что первая линия немецкой обороны захвачена нашими бойцами, что гвардии лейтенант Калабин серьезно ранен в бою, но продолжает оставаться в строю и командовать.

— Прошу дать огня по правому флангу, — сказал Лысенко, когда закончил докладывать, — мешает дзот. Не дает продвигаться.

— Покажите его местонахождение ракетой. Отсюда не видно, — сказал майор.

— Утки возвращать?

— Если прорвутся, — пусть плывут.

«Если прорвутся», — подумал старший лейтенант и поглядел из своего окопа в сторону Днепра. Немецкая артиллерия еще более усилила огонь и от разрыва снарядов теперь буквально кипела вода. Противник стремился помешать дальнейшей переправе наших бойцов, чтобы отрезать Калабина, окружить его группу на берегу и уничтожить.

— Сумеешь прорваться? — спросил Лысенко бойца-волжанина, который сидел за веслами в их лодке.

— Попробую, товарищ старший лейтенант.

— Тогда давай. Бери с собой еще две лодки и командуй.

Но если немцы, действительно, стремились окружить группу Калабина или сбросить обратно в Днепр, то сам Калабин об этом не думал. Совсем не для того с таким трудом он переплывал со своими бойцами Днепр. Нет, отсюда, с правого берега он никуда теперь не уйдет. Он будет драться до последнего вздоха, но удержит за собой захваченный плацдарм, обеспечит переправу для других частей.

Калабин не ошибся. Через несколько десятков метров первая линия траншеи круто ломалась, почти под прямым углом, и шла к крутому и высокому берегу. Там была вторая линия обороны, более совершенная. В ней же находился и тот самый дзот, из которого сейчас беспрестанно вел огонь крупнокалиберный немецкий пулемет. Достигнув этого поворота, Калабин скомандовал:

— Приготовить гранаты!

Расчистив путь гранатами, бойцы, не задерживаясь, пробежали весь ход сообщения, который тянулся метров двести по ровной песчаной полосе, поросшей редкими кустарниками, и ворвались во вторую линию немецкой обороны. Немцы не знали, какими силами располагал Калабин. Их ошеломила та решительность и дерзость, с которой действовали наши бойцы. И почти не оказывая сопротивления, они бежали по траншее, которая, изгибаясь змейкой, вела к опушке рощи. От нее недалеко находилась небольшая деревня.

Достигнув опушки рощи, Калабин остановил бойцов. Задача, возложенная на него командованием, была выполнена. Теперь оставалось закрепиться здесь и держаться, пока не подойдет подкрепление. Калабин послал двух бойцов перенести телефон с берега Днепра, где продолжал находиться старший лейтенант Лысенко, во вторую траншею, чтобы можно было держать личную связь с командиром батальона. Вернувшиеся бойцы сообщили, что три лодки, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, сумели прорваться на левый берег за пополнением и боеприпасами.

Поскольку бойцы только пробежали по второй траншее, в которой находились и крытые блиндажи, и хорошо оборудованные пулеметные ячейки, и даже дзоты, Калабин приказал одному из командиров взвода шестой роты пройти обратно по траншее и осмотреть ее.

— Если имеется оружие, — соберите его. Оно пригодится нам, — сказал Калабин.

Командир взвода вернулся и доложил о результатах осмотра. Он принес с собой станковый немецкий пулемет, телефонный аппарат и много ракет. Калабин сейчас же приказал поставить трофейный пулемет на левый фланг, подле опушки рощи, потому что со стороны рощи и деревни, в которой, вероятно, находились главные силы немцев, можно было каждую минуту ожидать атаки.

А справа продолжал вести огонь немецкий пулемет из дзота. Это очень беспокоило Калабина. Хотя амбразура была направлена в сторону берега и пулемет не мог обстреливать вторую траншею, но в случае очень серьезного нажима противника слева, этот пулемет может доставить много хлопот и потерь. И пользуясь ми-

нутным затишьем, Калабин приказал Синельникову, командиру пулеметного взвода, подавить немецкий дзот.

— Зайдите с тыла и забросайте гранатами. Если пулемет уцелеет, поставьте там же в сторону противника.

Синельников с несколькими бойцами подобрался бесшумно к дзоту и забросал его гранатами. Теперь бойцы штурмовой группы располагались от дзота до самой опушки рощи. Калабин ходил по траншее и проверял, как бойцы расчищают бровки в сторону противника, протирают от песка оружие. Потом он отправился осматривать весь захваченный ими район, чтобы иметь ясное представление, где он находится. Он заходил во все ячейки, блиндажи, осмотрел высокий, обрывистый берег, который он совсем еще недавно рассматривал только на карте, лежащей у него в планшетке. А сейчас вот он ходит по этому берегу, как законный его хозяин. И сознание этого наполняло душу волнующими чувствами, придавало еще больше уверенности в своих силах. Проходя по траншее, он видел, как мало у него бойцов, они стоят редко друг от друга. Но чтобы ни было, этой освобожденной земли они никому не отдадут. Даже если очень задержится подкрепление, так и тогда они не уйдут отсюда.

Вернувшись на свой наблюдательный пункт, Калабин приказал поставить противотанковое ружье на стыке хода сообщения и второй траншеи, на случай появления танков, соединился по телефону с командиром батальона и доложил, что поставленная перед ним задача полностью выполнена.

— Любой ценой держать захваченный плацдарм до подхода подкрепления, — сказал майор.

— Буду держаться до последнего, — ответил Калабин.

Короткое затишье закончилось. Не перестававшая обстреливать Днепр артиллерия противника в несколько раз усилила свой огонь. Теперь она била и по левому берегу, откуда стреляла наша артиллерия поддержки.

«Начинается», — только и успел подумать Калабин.

Со стороны деревни, захватывая и опушку рощи, немцы пошли в свою первую атаку. На несколько десятков советских бойцов противник бросил, как потом

выяснилось из показаний пленных, целый батальон. Еще издалека гитлеровцы открыли мощный пулеметно-ружейный огонь. Стреляло все, что было в их распоряжении. Они рассчитывали этим подавить моральное состояние наших бойцов, вызвать среди них замешательство и панику. Подойдя по ходам сообщений на близкое расстояние, немцы стали забрасывать траншею гранатами.

— Ни шагу назад! — отдал команду Калабин. — Отбить атаку противника. Скоро будет подкрепление.

Несмотря на свое превосходство в людях, немцы все же не решились идти по открытой местности, а старались продвинуться по траншее. Но стоявший на левом фланге трофейный пулемет и автоматы бойцов намертво закупорили траншею.

Но не прошло и пяти минут, как немцы повторили атаку. На этот раз они бросили значительную группу по опушке рощи, чтобы зайти в тыл нашим бойцам и тем самым отрезать их от Днепра. Положение было более чем серьезным. Видя, что у них в тылу оказалась группа немецких автоматчиков, наши бойцы стали, хотя и медленно, но пятиться по траншее вправо от опушки леса, где особенно ожесточенно нажимали немцы, не считаясь ни с какими потерями.

Не теряя присутствия духа даже в эту критическую и тяжелую для него минуту, Калабин приказал Синельникову выделить отделение для уничтожения прорвавшейся в тыл немецкой группы, а сам снял несколько бойцов с правого фланга и с криком «ура» побежал налево восстанавливать положение. Узнав по крику командира роты, отошедшие было бойцы кинулись с криками вперед, забрасывая немцев гранатами. Пример отваги и бесстрашия подавал сам Калабин. Порываясь вперед, он брал у бойцов гранаты и кидал их.

— Смерть немецким захватчикам! — повторял отважный командир роты при каждом броске гранаты. Это был наиболее любимый вид оружия гвардии лейтенанта. Когда наступали критические минуты в бою, он почему-то доверял им больше всего. Он всегда был уверен, что с гранатами не пропадешь.

Долгая и упорная была схватка, но немцев все же оттеснили назад и восстановили прежнее положение. А

прибежавший командир взвода сообщил, что зашедшая в тыл группа противника частью уничтожена, частью рассеяна, при этом два немецких солдата взяты в плен.

— Где пленные? — спросил Калабин.

— В первой траншее. Что с ними делать?

— Отправьте к старшему лейтенанту.

— Людей же нет, товарищ гвардии лейтенант, — сказал командир взвода. — Каждый боец на учете...

— Выполняйте приказание! — строго заметил Калабин, и в одном этом ответе командир взвода уловил нерушимую уверенность гвардии лейтенанта в успехе своего дела, готовность преодолеть все, что выпадет на их долю.

Минут через десять немцы пошли в третью атаку. Перебегая по траншее, Калабин требовал как можно ближе подпускать противника и вести только прицельный огонь.

Не встречая нашего огня, немцы бежали смелее. Они были уже совсем близко. Их гранаты рвались перед самой траншеей. Но самих немцев еще не было видно. Первым из тумана показался офицер. Калабин хорошо различил нашивки на его мундире.

— Огонь! — скомандовал Калабин и в тот же момент перед ним, на бровке траншеи, разорвалась граната. Он не успел даже пригнуться. Его оглушило, ранило в лоб, висок, пробило осколком правое ухо. Однако он находился в таком напряженном и возбужденном состоянии, что сразу и не почувствовал боли. О ранении напомнил ему ординарец, находившийся с ним рядом. Он бросился бинтовать Калабину голову, чтобы приостановить кровь.

— А я свалил этого офицерика, — сказал он, заматывая голову бинтом. — Это он бросил в вас гранату...

Светясь в темноте забинтованной головой, еще более негодующий и озлобленный, Калабин решил сам атаковать немцев и опрокинуть их. Увлеченные его примером, бойцы выскочили из траншеи и, подхватив его всегда такое мощное и воодушевляющее русское «ура», бросились навстречу немцам, снова пуская в ход и приклады, и лопатки. А тут, помогая, открыла огонь наша артиллерия.

С честью и славой выдержали бойцы и третью ата-

ку немцев, третью атаку за какие-нибудь полчаса. Никто не дрогнул, не отступил. Даже раненые оставались в строю и продолжали драться, потому что вместе с ними находился уже дважды раненый командир роты. Он истекал кровью, но попрежнему подбадривал бойцов, первым кидался туда, где было наиболее опасно. И эта неистощимость командира, его воля, мужество и стойкость, его расчетливая дерзость, вера в успех дела, желание во что бы то ни стало выстоять до подхода подкрепления, — как чудесная и возвышающая душу сила неизменно передавалась всем бойцам и заставляла их быть такими же, как сам командир. Именно в эту предельно опасную ночь, которых, может быть, немного бывает даже и в войне, бойцы крепко и надолго полюбили своего командира верной солдатской любовью.

Только теперь, когда несколько спало напряжение и можно было хотя бы на минуту вспомнить о себе, Калабин понял, что полученные им раны более серьезны, чем ему казалось в горячей обстановке. Он сменил бинт, но кровь продолжала течь. Страшно болела голова. И он испытывал такое ощущение, словно вокруг него вращалась какая-то карусель, которая вот-вот подхватит и понесет и закружит вместе с собой. И он напрягал большое усилие, чтобы владеть собой, крепко держаться на ногах, так же командовать, а главное не дать заметить бойцам, что его состояние плохое.

Калабин вызвал командира взвода и приказал выделить наиболее ловких бойцов, которые должны по-пластунски добраться до убитых немцев и взять у них всё автоматическое оружие. Бойцы вернулись и принесли с собой шесть автоматов.

— Отправьте их на левый фланг, — сказал Калабин. В следующую атаку немцы опять могли пойти со стороны рощи.

Его вызвал к телефону командир батальона и попросил рассказать, в каком он находится положении. Калабин коротко доложил майору о том, что третья атака немцев так же отбита и что он занимает старое положение.

— Значит, держишься?

— Держусь, — сказал Калабин. — Только прошу ускорить переправу уток.

— Утки поплыли, — ответил майор, поняв, о чем говорит Калабин. — Жди, они скоро будут у тебя.

Минут через пятнадцать к нему, действительно, явился командир шестой роты лейтенант Белов со взводом бойцов. Два других его взвода форсировали вместе с ротой Калабина Днепр и дрались на правом берегу. Вместе с Беловым явился артиллерийский корректировщик. Были доставлены ящик патронов и двадцать гранат. Прибывшие бойцы могли в лучшем случае возместить понесенные в трех атаках потери. Но то, что люди прибыли с левого берега, они как бы связывали всех находившихся в траншее с батальоном, полком,— всеми теми, кто был готов придти на помощь, нетерпеливо дожидаясь, когда опять подойдут лодки, прорвавшись сквозь огонь немецкой артиллерии.

Калабин объяснил командиру шестой роты Белову обстановку и направил его вместе с прибывшими бойцами на левый, как наиболее опасный фланг, оставив себе в виде резерва одно отделение, чтобы можно было во время боя прикрыть им тот или другой участок. Белов выслушал его, но почему-то медлил и не уходил. Калабину показалось странным поведение лейтенанта.

— Что у вас? — спросил Калабин.

— Ничего, — почти невнятно произнес командир шестой роты.

— Тогда торопитесь, времени у вас меньше, чем вы предполагаете. Немцы могут сейчас пойти в атаку. Держитесь хорошенько. Если будет очень трудно, приду сам.

Белов ничего не сказал на это и медленно, как-то несмело, направился по траншее, вобрав в плечи голову.

«Что с ним? — подумал Калабин. — Трусит, что ли?» Но сейчас же постарался забыть об этом. Он приказал ординарцу распаковать принесенный ящик и раздать бойцам патроны, а сам стал разносить гранаты, вручая их, как награды.

Не успел ординарец полностью разнести патроны, как немцы пошли в четвертую атаку. И не слева, как предполагал Калабин, а справа, заходя, одновременно по берегу в тыл. Они старались повторить здесь то же самое, что уже делали на левом фланге. Немцы, предпринимая атаки, старались нащупать наиболее уязвимое место в обороне Калабина

Туман продолжал наползать с реки, застилая весь берег, но воздух уже значительно посветлел. И немцы еще издалека открыли сильный огонь. Услыхав стрельбу и крики немцев на правом фланге, Калабин побежал туда со своим связным. Это было для него неожиданностью. Он рассчитывал, что противник снова пойдет со стороны деревни и рощи и постарался укрепить левый фланг, отдав туда и оба ручных пулемета, привезенных Беловым. А здесь было мало и бойцов и всего один трофейный пулемет, добытый в дзоте. Но Калабин и не подумал о том, чтобы взять у Белова людей и хотя бы один ручной пулемет. Нет, он не мог этого сделать. А что если немцы предприняли справа ложную атаку? Возьмешь у Белова часть людей и оружия, а немцы как раз там и навалятся всеми силами. Что тогда будет делать Белов? А сам-то он как-нибудь справится здесь. Отобьется.

Калабин подбежал к командиру взвода, который, вскинув автомат, следил за появлением противника. У него было посиневшее от холодного тумана лицо и воспаленные, ярко блестевшие из-под каски глаза.

— Осторожнее стали немцы-то, — сказал он Калабину, — не так напористо лезут.

— Раньше не загадывай, — заметил Калабин. — Немцы чего-то, кажется, хитрят. Повнимательней будь. Подпускать противника как можно ближе и без моей команды — ни единого выстрела. Передайте об этом бойцам.

Калабин подошел к трофейному пулемету, переставил его на другую бровку траншеи, чтобы можно было вести огонь в сторону берега. И как только показались в сумраке белесого тумана немцы, Калабин крикнул «огонь» и нажал на гашетку пулемета, стеля вдоль берега очереди одну за другой. Калабин и на этот раз оказался близким к истине. Немцы хитрили. Видя, что у наших бойцов мало патронов и они не торопятся открывать беcприцельного огня, немцы решили воспользоваться этим, подойти как можно ближе, а затем навалиться из тумана на наших бойцов.

Эта четвертая атака была самой продолжительной и самой ожесточенной. Немцы приближались иногда настолько близко, что брошенная ими граната подхва-

тывалась налету нашим бойцом и возвращалась обратно, разрывая в куски, может быть, того самого немца, который бросил эту гранату. И хотя немцы несли очень большие потери, Калабин с болью переживал потерю каждого своего бойца. То там, то здесь смолкали вдруг винтовки или автоматы, и боец, скользя по стене траншеи, сползал на дно, откинув на грудь беспомощно голову в стальной каске.

А немцы лезли напропалую, как одержимые.

«Пьяные, что ли они?» — думал Калабин.

Он приказал артиллерийскому корректировщику усилить огонь и одновременно послал ординарца за резервным отделением, которое он предусмотрительно оставил из взвода, прибывшего с лейтенантом Беловым. С отделением прибежал и расчет противотанкового ружья. Может быть, толк из него сейчас был и небольшой, но грохало оно здорово, как небольшая пушка. А тут подбросила огоньку и наша артиллерия. Немцы залегли. Повеселевшим голосом Калабин крикнул корректировщику:

— Клади ближе снаряды! Чего ты бьешь по хвосту? Ты по голове бей. Мы в траншее, нас осколки не заденут. Давай ближе!..

Разрывая густой туман и медленно расползающуюся темноту ночи, снаряды нашей артиллерии стали постепенно приближаться к траншее, взмешивая белый сырой песок, а вместе с ним и лежащих немцев, которые теперь уже не смели подняться.

Так была отбита и четвертая атака.

Калабин встал из-за пулемета, вытирая окровавленное лицо от пота. Бинт размотался и спадал на глаза.

— Чортов туман, — сказал Калабин, откидываясь к стенке траншеи, чтобы не упасть, — от него все лицо взмокло.

Стоявшие рядом бойцы лукаво улыбнулись, тоже вытирая пилотками лица. Они-то понимали, что туман здесь, собственно, был неприкаем.

— Вам, товарищ гвардии лейтенант, надо бы перевязать голову-то, — сказал один боец. — Кровь течет, а повязка сбилась, и вся в песке.

— А ну, — сказал Калабин ординарцу, — наведи порядок, забинтуй как следует.

Он старался казаться таким же веселым, бодрым и сильным, способным все перенести, а сам невольно протягивал перед собой руки, чтобы опереться о противоположную стенку траншеи, потому что вокруг него вновь понеслась карусель. Потом в глазах потемнело и он показался самому себе удивительно легким и беспомощным.

— Держи его, — крикнул боец ординарцу, — он сейчас упадет! Видно, ослаб... Крови много потерял.

Но Калабин уже справился с собой. Он поглядел строго на ординарца и сказал.

— Если взялся перевязывать, так скорее.

Он прошел к телефону и доложил командиру батальона, что четвертая атака немцев успешно отбита. На этот раз Калабин ничего не сказал о помощи, но майор понимал его.

— К вам отплыли еще две утки. Скоро сам буду... Как самочувствие?

— Прекрасное, — ответил Калабин.

— Я уже все знаю... Мне Лысенко передал. Если плохо чувствуете себя, — переправляйтесь на левый берег.

— Рано еще, не могу. Буду драться, пока не прибудет все наше хозяйство.

Разве он мог оставить своих бойцов, когда положение было все еще очень тяжелым. Никто лучше его не понимал, в каком положении находились они.

Немцы предприняли пятую атаку. Как и в первый раз, они шли по траншее и одновременно заходили в тыл. Тут произошло то, что смутно, но неотступно беспокоило Калабина. Заметив, что немцы начинают обходить левый фланг с тыла, лейтенант Белов растерялся и убежал к Днепру, где находились наши лодки. Бойцы заметили это, впали в замешательство и стали пятиться по траншее. Положение становилось угрожающим.

Калабин находился в это время на своем наблюдательном пункте, в средине траншеи, когда ему сообщил об этом прибежавший боец. Гвардии лейтенант почувствовал, словно ему ударили в грудь. Он снял несколько человек и, выделив среди них старшего, послал задержать группу противника, заходившую в тыл, а сам по траншее побежал восстанавливать положение.

Его нагнал телефонист и передал, что только-что старший лейтенант Лысенко сообщил с берега, что прибыли еще две «утки», с которыми прибыл на правый берег и сам командир батальона. Он привез с собой станковый и ручной пулеметы.

Калабин послал своего ординарца с приказанием, чтобы станковый пулемет послали для прикрытия левого фланга, не давая немцам продвигаться дальше вдоль берега, а бойцы с ручным пулеметом должны немедленно направиться к нему.

Прибежав на левый фланг, Калабин крикнул бойцам, отбивающимся от наседающих немцев:

— Подкрепление прибыло, ребята! Четыре атаки выдержали, а теперь-то мы продержимся! Вперед, за мной!..

С подоспевшей новой группой бойцов, решительным броском, ошеломившим противника, Калабин сумел восстановить прежнее положение.

— Вот это командир, прямо орел, — говорили о нем бойцы, когда отступили немцы и в пятый раз.

Оставив за себя артиллерийского корректировщика, Калабин побежал с ординарцем к Днепру, чтобы узнать, где находился Белов. Поступок лейтенанта так взволновал Калабина, что он едва владел собой. И без того горячий, он готов был сейчас на любой поступок.

Белов находился на берегу и спокойно грузил в лодки раненых бойцов, словно без него здесь не могли обойтись. Калабин хотел прямо идти к нему, чтобы разрядить свое душевное состояние, но вдруг заметил командира батальона.

— Товарищ майор, — сказал Калабин, едва сдерживая себя, — лейтенант Белов бросил свою роту и сбежал в момент атаки немцев.

Майор сразу даже не поверил тому, что сказал ему Калабин.

— Как так сбежал?

— Испугался и сбежал.

Командир батальона вызвал к себе Белова.

— Вы почему здесь находитесь, почему не в роте?..

Белов мялся, не зная, что сказать.

— Оставить людей в такую критическую минуту, — не выдержал Калабин, прикладывая руку к кобуре пистолета. — Да как ты смел это? А?

Майор взял Калабина за руку, отведя ее от кабуры.

— Немедленно в подразделение! — закричал командир батальона на совершенно растерявшегося и побледневшего Белова.

Лейтенант сорвался с места и, опять втянув голову в плечи, побежал вверх, ко второй траншее. Калабин побежал вслед за ним, потому что каждую минуту немцы могли пойти в очередную атаку. Калабин бежал, напрягая последние силы. Он чувствовал себя уже совсем плохо.

От потери крови сильно кружилась голова. Перед глазами все чаще возникали цветные круги, а по телу пробегала какая-то холодная волна.

Вдруг Калабин остановился, качнулся из стороны в сторону и повалился набок.

— Что с вами, товарищ гвардии лейтенант?— спросил Белов, опускаясь перед ним на колени, словно прося прощения за свой поступок.

— Уйди от меня,— с презрением сказал Калабин.— Трус!

— Да я же не убежал, товарищ гвардии лейтенант. Это вы совсем напрасно...— торопливо, точно захлебываясь воздухом, говорил Белов.— Я пошел отправить раненых...

— В такое-то время? Брось оправдываться. Раненых спасал... А зачем сапоги снимал? Через Днепр готовился бежать? От своих-то бойцов? А кровь, которую они пролили, ты забыл? А приказ забыл? Своя маленькая жизнь тебе дороже, значит, Родины? Ты трус, понимаешь, — трус! — уже кричал Калабин, пытаясь встать. Он был большой, сильный, но сейчас казался слабым и беспомощным.

Белов хотел помочь ему встать на ноги.

— Не надо, я обойдусь и без твоей помощи. Я вообще могу обойтись без тебя.

Калабин поднялся и, разбрасывая сапогами песок, пошел крупными, еще не совсем уверенными шагами, а Белов бежал впереди него и оглядывался через плечо, словно опасался, что Калабин, действительно, может сгоряча выстрелить ему в спину.

Только добрался Калабин до траншеи, как немцы пошли в шестую атаку. Она была отбита. Однако, отка-

тившись назад, немцы сейчас же начали седьмую атаку. Взглянув на часы, Калабин увидел, что было уже одиннадцать часов дня. Это значит, шесть часов непрерывных атак противника, шесть часов непрерывного изнурительного боя. Поистине, надо быть богатырем, чтобы все это выдержать. И первым среди равных был гвардии лейтенант Калабин, командир штурмовой группы. В самый разгар седьмой немецкой атаки неожиданно явился командир пятой роты, только-что переправившейся через Днепр, и доложил: Товарищ гвардии лейтенант, прибыл в ваше распоряжение в составе роты.

Калабин только и успел ему сказать:

— Забирайте два взвода и скорее идите на левый фланг, будете за старшего...

С подходом пятой роты положение Калабина значительно улучшилось. А вскоре майор сообщил Калабину, что плывет третий батальон. Это было то самое, чего Калабин и его бойцы так долго и терпеливо ждали. Теперь он окончательно понял, что они выстояли, что теперь их уже ничем нельзя сбросить с захваченного плацдарма, что правый берег — теперь наш.

— Обеги траншею,—сказал Калабин своему ординарцу, — и сообщи бойцам, что к нам едет третий батальон. Скоро будет здесь.

Его вызвали к телефону.

— Слушаю, — сказал Калабин, откинувшись к стенке траншеи, опять чувствуя, что может упасть.

— Явитесь ко мне, — сказал майор.

Калабин отдал необходимые приказания и отправился к Днепру. Туман уже поредел, отделился от воды, которая, отражая в себе туман, казалась зеленовато-серой и холодной. У берега покачивались лодки, точно хотели сорваться с привязи. Калабин подошел к группе бойцов, занятых перевозкой, и заглянул через их плечи. На разостланной плащ-палатке лежал лейтенант Белов. Открытые глаза его были устремлены в какую-то невидимую для всех остальных точку.

— Что с ним? — спросил Калабин.

— Раненый, — сказал боец, подвигаясь в сторону и давая место Калабину.

— Плох?

— Умирает...

Калабин нагнулся. Белов медленно перевел на него глаза цвета холодной днепровской воды. В последнюю минуту своей жизни он, может быть, хотел сказать ему, что вот как война мстит даже за один поступок трусости и что смерть отступает перед мужеством героев.

— Товарищ майор, гвардии лейтенант Калабин прибыл по вашему приказанию, — привычно и четко доложил Калабин о своем приходе.

А перед глазами опять начинало все вращаться...

Майор внимательно осмотрел стоявшего перед ним Калабина в изодранной и пробитой пулями и осколками плащ-палатке, с забинтованной головой, с разбитым подбородком, и отступил на шаг, словно Калабин сейчас был слишком велик для него, чтобы можно было смерить его глазами во весь рост. Потом снова приблизился и сказал:

— Передайте командование командиру пятой роты, а сами отправляйтесь в медсанбат.

— Разрешите остаться, товарищ майор.

— Я приказываю вам...

Ничего не оставалось делать, как подчиниться командиру батальона. Калабин простился с майором и с чувством сожаления пошел к лодкам. Белова уже увезли на левый берег. Калабин сел в лодку, в которой за веслами уже сидел боец. Он узнал его. С этим гребцом, коренастым волжанином он ехал сюда во время форсирования Днепра. Теперь он вез его обратно.

— А все-таки, мы удержались, товарищ гвардии лейтенант, — сказал гребец, посматривая на разрывы снарядов. Немцы продолжали обстреливать Днепр. — И эту реку перешагнули... А теперь что ж нас может задержать?

— Теперь ничего не удержит, — согласился Калабин, облокачиваясь на сиденье.

Туман уже совсем рассеялся. Несколько дней висевшие низко тучи разорвало и над Днепром проглянуло солнце. Калабин подставил ему свое лицо и закрыл глаза, наслаждаясь теплом ласковых лучей. Он лежал и прислушивался, как с клёкотом ударяются волны о лодку. Она покачивается, рывками подвигаясь вперед, все ближе к левому берегу. А Калабину показалось, что он едет обратно, туда, где находятся его люди, с

которыми он совершил в эту ночь то, что казалось выше человеческих возможностей.

С правого берега донеслось многоголосое, но смягченное расстоянием «ура».

«Наши атакуют деревню», — подумал Калабин и пожалел, что там сейчас нет его.

Он открыл глаза и прищурился: легкая зыбь Днепра вся блестела под солнцем, точно по реке, от берега до берега, плыло расплавленное, искрящееся серебро.

— И погодка-то сегодня наша, — сказал гребец, счастливо улыбаясь всем широким лицом, сохранившим крепкий и густой летний загар. — Победная погодка, товарищ гвардии лейтенант!

Калабин промолчал, наполненный счастливым ощущением честно исполненного долга.

А из дивизии в армию и выше, до самой Москвы, уже летела реляция на гвардии лейтенанта Калабина Алексея Ивановича. И когда он находился в госпитале, в центральных газетах был опубликован Указ Верховного Совета о присвоении ему самого высокого в нашей стране звания — Героя Советского Союза.

Вл. Кудрин.

ПЕСНЯ О НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ

То не тучи грозные
    разметали молнии,
То не реки бурные
    взрыли берега,—
То дружины гневные,
    ненависти полные
На борьбу за родину
    вышли на врага.

Не осилить соколов
    бешеным стервятникам,
Встали против варваров
    наши города.
Путь побед немеркнущих
    ополченцам-ратникам
Озарит кремлевская
    красная звезда.

От напора нашего
    враг назад покатится,
Разобьет захватчиков
    рать богатырей,
Кровь за кровь отхлынется,
    смерть за смерть отплатится,
Отольются извергам
    слезы матерей!

Ой ты, поле-полюшко!
    Ой ты, степь широкая!
Реки многоводные!
    Горы да моря!

Ты друзьям — желанная,
ты врагам — жестокая,
Ты непобедимая,
родина моя!

1941 г.

ПЕРЕД БОЕМ

Горит в землянке каганец,
Померкло небо голубое.
Письмо от матери боец
Вновь открывает перед боем.

Оно прочитано не раз,
Знакомо до последней точки.
И вот опять ласкают глаз
Письма изогнутые строчки.

Оно напомнит шум берез,
Уют родительского крова....
На пятна от соленых слез
Он смотрит долго и сурово.

И вспоминает край родной,
Ту землю, что пахал когда-то...
И в сердце пахаря волной
Вскипает ненависть солдата.

Здесь, за землянкой, перед ним —
Поля, изрытые снарядом.
Они мертвы. Клубится дым.
И враг таится где-то рядом.

А там, где враг, — там нет весны:
Там не встречают люди Мая;
Там все горит в огне войны;
Там рабский труд и жизнь немая.

Бойцу о мести пишет мать
Простыми строгими словами.

И он, рожденный побеждать,
Ее наказ хранит, как знамя.

Боец пойдет бесстрашно в бой
В лучах весеннего рассвета,
Чтобы всегда перед собой
Цветущей видеть землю эту.

1942 г.

ХОЛМ СЛАВЫ

Нет преград в степи широкой
Для косматой вьюги.
Ходит ветер одинокий
По степной округе.
Он пройдется бороздою,
Ковыли наклонит...
Холмик свежий со звездою
Ветер тихо тронет.

Не занесть снегам-буранам
Этот холмик строгий.
Он стоит на поле брани,
На краю дороги.
Не прикрыть дорожной пылью
След борьбы кровавой...
Здесь ионовцы почили,
Полегли со славой!

Пробивались танки к Дону,
Мяли степь шипами.
В балке встретил их Ионов
С храбрыми бойцами.
— Нет назад дороги, братцы!
Быть нам — тверже стали!
И преградой сталинградцы
В чистом поле стали.

Шесть друзей неудержимо
В бой пошли бурьяном.

Степь покрылась черным дымом
И огнем багряным.
Громыхали вражьи танки,
Налетали скопом...
И пылали их останки
В поле за окопом.

Лейтенант сказал три слова
В телефон комбату:
— «Ну, прощай... Встречаем новых»...
И занес гранату.
Так он с поднятой гранатой
К танкам устремился...
Он упал, железом смятый,
Танк над ним дымился.

...Нет, не зря комбат однажды
Их прозвал орлами!
Из шести отмечен каждый
Славными делами.
Степь весеннею порою
Приоденут травы.
И бессмертники прикроют
Холм бессмертной славы.

1942 г

ГЕРОИНЯМ РОДИНЫ

Всюду вы идете с нами рядом,
Женщины и девушки страны.
Это вы в руинах Сталинграда,
Гнева и решимости полны,
Защищали с нами каждый камень,
Утомленных подбодряли нас...
Это вы сражались вместе с нами
За Москву, за Волгу, за Кавказ.

Озаряет вас в лесах Полесья
Пламя партизанского костра.
Летчицы взлетают в поднебесье,
К раненым склоняется сестра.

Девушка со снайперской
сноровкой
Недруга выискивает след...
Многие сдружилися с винтовкой
Ради жизни, мести и побед.

Осушив большого горя слезы,
Ненависть к пришельцам не тая,
Вы идете сквозь огонь и грозы
За свои любимые края.
За чертой Ростова, Ленинграда,
На волнах разгневанных морей —
Всюду вы деретесь с нами рядом,
Героини родины моей!

Никакая сила вас не свалит.
И в тылу вы — тоже на войне.
Кровь свою бойцам вы отдавали,
Жизнь свою готовы дать стране.
Только бы победа прогремела,
Облетела села, города...
Только бы немеркнущей горела
Над Кремлем счастливая звезда.

1942 г

СЛОВО БЫВАЛОГО СОЛДАТА

К нам дорога торная:
как сойдешь на станции,
Как минуешь линию,—
свороти в лесок.
Будет поле чистое,
а за полем—рощица,
А за рощей — тихая
речка и песок.
Ивняком по берегу
ты дойдешь до омута.
За плотиной сразу же
вправо надо брать...

На гору поднимешься,
а уж тут до дому-то,
До родимой Дубовки —
хоть рукой подать.
Хата наша — самая
что ни есть приметная:
Три березы старые
а на них—грачи...
На карнизах низеньких
краска разноцветная...
Над крыльцом — акация...
Тут и постучи.
Эх, друзья, и жили мы!
Жинка черноокая,
Ребятишек четверо
да старушка мать...
Дом-то — чаша полная,
жизнь — река широкая:
За такую до-смерти
стоит воевать.
Мы дела колхозные
по закону правили:
С потом поработаешь —
вот и урожай.
На Московской выставке
нас три года славили:
«Хошь—не хошь, а все ж-таки,
дескать, уважай».
Э, да что рассказывать
про былое-прошлое...
Налетели вороны
на родимый край.
Отошло то времечко —
светлое, хорошее...
Жинку крепко обнял я
и сказал: «прощай».
Что таить нам, соколы:
жаль оставить милую...
Не легко крестьянину
уходить с полей...
Но коли расстанешься,
— наливайся силою,

На врага-разлучника
злобы не жалей!
Я спервоначалу-то
каждой пуле кланялся.
А потом одумался
немцу класть поклон.
«Будешь храбрым, думаю,
значит, жив останешься,
А сробеешь, — стало-быть,
одолеет он».

Как подружку верную,
холю бронебойку я.
С ней в бою, товарищи,
век не пропадешь:

Сила богатырская,
пуля дюже бойкая...
Как ударишь с толком-то —
все равно пробьешь!

Я два года в армии.
На войне с неметчиной
Многое нам, воинам,
видеть довелось.

Сталинград держали мы.
Был я трижды меченый...
Потягаться с немцами
У Днепра пришлось.

Только окопались мы, —
танки подбираются.
Кто-то крикнул «Тысяча!»
Подсчитал я — сто.
Два дружка-приятеля
драпать собираются.
Я гранату выхватил
и кричу им: «Стой!»

Пыль да копоть по полю.
Немцы, видно, пьяные,
Так и прут, проклятые,
сталью грохоча.

Выжидаю... меряю...
А потом, как гляну я:
Эх, не промахнуться бы!
И рванул с плеча.

Танк покрылся пламенем.
    Мне тут стало весело.
По другому, третьему...
    В бок им так и бью!

Два фашистских пугала
    в небе дым повесили.
Я ж стою, как вкопанный,
    словно дуб стою.

С третьим же, товарищи,
    так я и не справился.
Руки ль мои дрогнули,
    глаз ли мой сплошал...

Вражий танк прямехонько
    на меня направился
И шипами тяжкими
    на окоп нажал...

Но земля советская
    немцам неподатная,
Как они ни тужатся,
    а не смять меня...

В ней, в земле-то-матушке,
    сила необъятная.
Нам она, солдатам-то —
    лучшая броня.

Бой победой кончился.
    Враг назад попятился.
Я, хоть невредимый был,
    но с надрывом встал...

Только отряхнулся я,
    только я опрятился,
Тут тебе, пожалуйста, —
    едет генерал.

Из машины вышел он
    и со мной встречается.
Обнял меня запросто,
    как родной отец.

«Ты, говорит, Силичев,
    бьешь, как полагается:
Ты, говорит, Силичев, —
    опытный боец».

И на грудь мне вешает
    орден «Славы», соколы.
«Вот, говорит, Силичев,
    за любовь к стране»...

С ним врага заклятого
    буду бить жестоко я.
А придется, — стало-быть,
    с ним вернусь к жене...

Эх, друзья,
    и жили мы!..
Жинка черноокая,
Ребятишек четверо
    да старушка-мать...

Дом-то—чаша полная,
    жизнь—река широкая.
За такую до-смерти
    стоит воевать.

1943 г.

В ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ

Тот — большевик, кто, даже умирая,
Насквозь пронзает вражескую грудь.
Нам Лениным начертан этот путь —
Итти вперед, в сраженьях побеждая.
Направленная вдаль его рука,
Казалось, уводила нас в века
И будущего солнце показала.
Он говорил тогда с броневика
На площади Финляндского вокзала.
«Авроры» гром победу возвещал.
Народ шумел бушующим потоком.
Он победил тогда в бою жестоком
И нам хранить свободу завещал.
И мы ее хранили, берегли.
В своей стране мы жить привольно стали.
Там, где провел нас наш любимый
    Сталин,
Широкие просторы зацвели.

* * *

Враг, черный враг нарушил мирный труд.
Зверь посягнул на право человека.
Но разве наши люди отдадут,
Что им дано отныне и до века?!
Священной кровью пламенных борцов
Окрашены победные знамена.
Там — на Неве, у Волги и у Дона —
Мы повторили подвиги отцов.
Мы шли вперед в морозы и пургу,
В палящий зной и в пору бездорожья...
И каждый шаг наш — местью был врагу —
От Сталинграда и до Запорожья.
Враг не собрал в степях своих костей —
Их хищники степные расхватали...
Так издревле непрошенных «гостей»
На бранном поле русские встречали.
Расскажут наши внуки о былом.
Навек запомнят гордые потомки,
Как «тигров» обагренные обломки
От наших рук пылали под Орлом.
Незабываем день Бородина,
Бессмертна битва поля Куликова,
Но героизма, подвига такого
Не знала даже русская страна!
Шумит Днепро, зовет нас в ярый бой.
Нас видит вновь освобожденный Киев.
Мы не уступим. Мы, ведь, не такие,
Чтобы отчизну кто-то звал рабой!
Мы, славя годовщину Октября,
С великим маршалом идем вперед к победам.
Мы будем гнать врага кровавым следом
Через равнины, горы и моря.
Нам Лениным начертан этот путь —
Итти вперед, в сраженьях побеждая.
Тот — большевик, кто, даже умирая,
Насквозь пронзает вражескую грудь.

7 ноября 1943 г.

В. Жуков

ПЕТР ЖАВОРОНКОВ

Синеглазый, он был беззаветен в бою,
Все лишенья и беды без жалоб им пройдены.
Он все силы, всю душу большую свою
Отдавал без остатка победе и Родине.

За насилье, грабеж, что чинил злобный враг,
Он в жестоких боях беспощадным был мстителем.
Он из самых шальных и кровавых атак
Несгибаемый, злой выходил победителем.

Я вот это в душе навсегда сберегу:
Слякоть. Изморозь. Тьма... Бой вблизи Богуслава...
Нет, не он шел за славой в ту злую пургу,
А его там искала солдатская слава.

Враг зверел, отходя, отрываясь от нас,
Он на каждой версте нам готовил засаду...
И поднялся наш Петр, не сводя зорких глаз
С заметенного сиплой пургой палисада.

И пошел. И всплакнул под ногой его лед.
Присутулившись, окна подставила хата.
И сквозь стену ударил тогда пулемет,
И в ответ ему раму рванула граната.

Он лежал на сугробе с умолкнувшим ртом,
Сильным взмахом раскинув усталые руки...
Мы разбили врага, мы сожгли этот дом,
А сердца все стонали от горя и муки.

Мы зарыли могилу. Мы шли за село.
Через снег, через бурю, готовые к бою.
Свежим снегом могилу его замело,
Она вслед нам мерцала фанерной звездою.

Я ИТТИ НА ЗАПАД НЕ УСТАНУ

Я итти на запад не устану
И вернусь, испытанный огнем,
Чтоб увидеть тихий полустанок,
Пруд и две березы под окном.

Выйду в степь, а небо сине, сине.
Степь просторна, глазом не обнять...
Как еще любить тебя, Россия,
В горе не стареющая мать!

Возмужавший с первыми боями,
Слышу я сквозь хриплую картечь
Вольный говор струн твоих Баянов,
Русскую волнующую речь...

Замели метели полустанок.
Тишь. Скрипят березы под окном...
Я итти на запад не устану,
Путь далек, но ближе, ближе дом.

Только тот получит это право,
Кто пройдет сквозь смерти черный дым,
Не щадил себя в бою кровавом,
Родине был сыном дорогим.

По траншеям, по золе горячей,
Там иду я, где поет шрапнель,
Чтоб придти к любимой, глаз не пряча,
Фронтовую сняв в сенцах шинель.

НАЧАЛО

Был снег по плечи... Я и не заметил,
Когда впервые запахом земли
В лицо пахнул мне беспокойный ветер,
И на березах почки отошли.

И полушубок сразу стал не нужен.
Нивесть откуда взявшись, на тропе
Заголубели, зачернели лужи,
И обвалились стенки на НП.

И запестрели рыжие пригорки
И проволока на земле ничьей.
На песню от простой скороговорки,
Меняя звуки, перешел ручей.

И корочку листвы едва осилив,
Ко мне в окоп головку наклоня,
Открыл глаза подснежник бледносиний
И изумленно смотрит на меня.

На гильзы и на брошенные банки...
Осуществляя план своих надежд,
Мы этой ночью откопали танки
И выкатили пушки на рубеж.

Нам очертела нудная зимовка,
Коптилок чад и лабиринт траншей,
И выстрелы из снайперской винтовки
С чужих, проклятых, близких рубежей.

В бездействии давно изныли души,
Ждя наступленья, как войны конца...
Шипя и воя, грянули «катюши»,
И в ожиданьи замерли сердца.

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Коротким было золотое детство.
Мальчишки, в жизнь не брившие усов,
Мы, не согнувшись приняли наследство
В тот грозный день из рук своих отцов.

Из эшелона выйдя прямо в поле,
Расправил я заплечные ремни...
Не неженками выросли мы в школе,
А сильными и честными людьми.

Мы знали: немцем втиснутый в гранату,
Калеча, напрочь руки рвет тротил...
Я не простился с матерью, как надо,
И провожать любимой запретил.

Не из романтики в мечтах о славе
Я сбросил куртку, а шинель надел, —
Я книжку недочитанной оставил
И недоделал много нужных дел.

Не за наживой ненависть большая
Нас привела на прусские поля, —
Чтоб «юнкерсы» нам в небе не мешали
И без траншей и рвов цвела земля!

Чтоб кованой железом страшной бутцей
Мои поля германец не топтал.
Чтоб к книжкам недочитанным
вернуться,
Сдав в склад шинели, пушки—в арсенал.

ВОЛГАРЬ

Он с малых лет запомнил запах ржи,
Речной простор вошел в него надолго.
В раскатах боя мерный скрип баржи
Он уловить старался, житель Волги.

Ему б весь век работать топором,
Травить канат и бредить лесосплавом,
Когда б не бой. И вместе с волгарем
Солдатская пришла к нам в роту слава.

Был этот парень, как дубовый кряж.
В далекий край придя на поединок,
Он, как избу, кряхтя, рубил блиндаж,
Врезая ниши в розовый суглинок.

Бой глухо колобродил за рекой.
Свою работу по-хозяйски взвесив,
Он разложил гранаты под рукой,
Бутылки просмотрел с горючей смесью.

На рожь взглянул: стоять бы ей
в снопах...
И в то ж мгновенье, скрежеща железом,
Со свастикой на низких серых лбах
Двенадцать танков ринулись из леса.

И подпустив врага до ковыля,
Он весь напрягся первородной силой.
Не Муромца ли, мать-сыра Земля,
Ты в этот день на подвиг воскресила?

Из рваных ран текла на землю кровь.
Сплошным костром, чадя, пылали танки.
Остатки сил собрав, он вновь и вновь
Метал огонь в их черные останки...

Его нашли в окопе. Он был жив.
Героя смерть коснуться не посмела.
Он отличал от гари запах ржи
И смог еще подумать: «перезрела»...

—

РАВНИНА

Когда-нибудь эти дни в былину
Войдут, как миф, бессмертье обретя...
На все четыре стороны — равнина.
В воде по пояс, по колена в глине
Ее пройти я должен без тебя.

Ты далеко. За тыщи верст. В России,
Где люди с детства любят неба синь.
Скажи, зачем я думать стал о сыне?
У нас с тобой еще не вырос сын.

Но всякий раз, в бессчетный раз, родная,
Едва на минах обведут пути,
Кой-где флажки заботливо втыкая,
Я вас обоих к синему Дунаю
Хочу своей дорогой привести.

На все четыре стороны — равнина,
Отроги Альп в тумане, как дыму.
Пусть воевать здесь не придется сыну, —
Я обучить его хочу всему,

Что сам умел и что не пригодится
Ему, коль на век хватит дел моих:
Из лужи пить болотную водицу,
В полглаза спать; с товарищем делиться
Всем, что имеешь, честно, на двоих.

Как дым, туман от края и до края.
Здесь мертвых только завтра погребут.
Но будет день, поверь, солдат все знает:
Равнину между Тиссой и Дунаем
Равниной Славы люди назовут.

ЗОВ РОДИНЫ

Вчера ножом с шинели счистив глину,
Я из окопа вылез и по склону,
Забыв войну, спускаться стал в долину
На отдых ко второму эшелону.

Весь снег с горы согнало в те минуты,
И ручейки, спеша, стремились мимо.
И стали резкими на талом грунте
Следы-воронки от разрывов минных.

Но если в след внимательней вглядеться
И постоять, сравненье подбирая:
Не так ли солнце рисовал ты в детстве,
Карандашом бумагу прорывая?

Землею, талым льдом и ветром мая
Пахнуло так, что, опьянев, на камень
Я сел. И, ничего не понимая,
Стал робко трогать веточку руками.

Все запахи земли перебивая,
От рук моих березовым настоем
Запахло... А березка, оживая,
Напомнила мне самое родное:

Провинция. Березовая чаща...
Бумажный флот из книжки и тетради.
И тот насквозь дождем промытый ящик,
Который я на дереве приладил.

Еще гостей в нем нет. Но скоро, скоро
Его займет скворец большеголовый...
Со всех сторон меня теснили горы.
А я сидел, твердя одно лишь слово:

Россия... Мать моя... Моя Россия.
И предо мной бескрайние вставали
Поля, как сны от солнца золотые,
И домики — из пепла и развалин...

Пусть крест тяжел и труден подвиг ратный
На обагренных кровью горных склонах,
Я с камня встал и повернул обратно
К окопу от второго эшелона.

А на рассвете раннем, вверх по склону,
Через рубеж бурлящего потока,
Рванулся в наступленье с батальоном,
Внимая зовам Родины далекой.

И. Ханаев

БАБУШКА ТАТЬЯНА

Дом у бабушки Татьяны —
Знаменитый дом.
Смотрит весело с поляны
Над большим прудом,
Целых три окошка кряду,
Белая труба,
По фасаду для параду
Разная резьба.
Свежим лесом крыша крыта,
Скатами пряма...
Но не меньше знаменита
Бабушка сама.
Целый день в работе разной
Вьется там и тут.
И в колхозе безотказной
Бабушку зовут.
Ткать попросят — сделай милость,
Шить — она швея, —
Знать такая уж родилась
Безотказная.
Бригадир идет с нарядом:
«На покос пойдешь?
Становись со мною рядом...»
«Рядом? Ну, так что ж...»
И на утро, раным-рано,
Чуть заря видна,
Шобуршит косой Татьяна
Афанасьевна.
Бригадир цыгарку вертит,
Потом облился:

«Здорова! А вроде смерти:
Кости да коса.
Ну-ка, бабушка, к зажину,
Начинаем рожь.
Тридцать рук тебе подкину».
«Тридцать? Ну, так что ж...»
Выйдет бабушкина рота
На передний край —
Ввечеру в хлебах ворота —
Табуны гоняй.
Валит лес, поставки возит,
В город до Сенной
Едет бабушка в обозе
Самой головной.
— Чай, ты, бабушка, устала, —
Не святее всех.
Ведь годков тебе не мало
Отдохнуть не грех.
— «Не жалею, милый, поту;
Раз уж на войне —
Каждый каждую работу
Делает вдвойне.
Не чужие тянем сани,
А свои, небось, —
Вот и бабушке Татьяне
Помогать пришлось.
Век на печке не сидела:
Лучше не умру,
А умру, так уж за делом,
В поле,
        на миру».

1945 г.

М. Бритов

ВДАЛИ ПЫЛАЕТ ДРЕВНИЙ ГОРОД РЖЕВ

Вдали пылает древний город Ржев.
Над заревом немеркнущим, багряным
Дым нависает огненным туманом.
Стучится в сердце ненависть и гнев.
И отсветы пожара катит Волга
Кровавой зыбью озаренных вод
По всей стране.
                    Недолго ждать, недолго —
Расплаты справедливой час придет,
И на врага всей тяжестью падет
Границ незнающее мщенье.
Напрасны будут вопли о прощеньи —
Ничто их от расплаты не спасет.
Вдали пылает древний город Ржев.
Над Волгою, сгущаясь, дым клубится.
В сердца солдатские неодолимый гнев
Призывом к мести яростной стучится.

1942 г.

ПРОЙДУТ ГОДА

Пройдут года. Глубокие траншеи
Сравняются, как раны зарастут.
Поля, под ярким солнцем хорошея,
Веселыми цветами зацветут.

Но дней войны не позабыть.
И снова
Сюда солдата память позовет.
Былое, в простоте своей суровой,
В душе его вдруг вспыхнет, оживет.

И он пройдет дорогою сражений,
Дорогой крови, славы и побед,
Дорогою невиданных лишений
Незабываемых военных лет.

Увидит снова холмик придорожный,
Где друг его походный погребен.
Встав на колени,—тихо, осторожно
Букет цветов ему положит он.

На сердце станет и тепло и ясно.
С улыбкою волненья на устах
Прошепчет: наши жертвы не напрасны,—
Мы отстояли Родину в боях.

1944 г

* * *

Война окончена. Уносятся в былое
Борьбою опаленные года.
В труде цветут деревни, города,
И светит ярче солнце над землею.
Нас ожидали матери-старушки
И жены с неуемною тоскою.
И мы вернулись.
        Замолчали пушки,
Но рано думать о покое.

К работе мирной всей душой рвались,
В походах тосковали о работе.
Иными помыслами души налились,
Изгладились военные заботы.
Струится под резцами стали стружка,
Раскинулись поля равниною морскою.
Война окончена, —
        Пусть не грохочут пушки,
Но рано думать о покое.

Мы без вина от радости пьяны,
В объятьях милых сердце согревая.
На труд, на подвиги идем, не уставая,
Широкими дорогами страны.
Подняв бокал на дружеской пирушке

Уверенной, солдатскою рукою,
Мы говорим:
Пусть не грохочут пушки ,
Но рано думать о покое.

И знаем мы—не время отдыхать,
Никто из нас не скажет: мы устали.
Пусть огненной метелью нас хлестало,—
Мы на посты готовы снова встать.
И наши жены, матери-старушки
Благословят нас любящей рукою.
Мы помним все —
Пусть не грохочут пушки,
Но рано думать о покое.

1945 г.



Мы в битвах решаем
судьбу поколений,
Мы к славе отчизну свою
поведем!



Юрий Крюков

КИРПИЧ В КОРИДОРЕ

На второй, много — на третий день работы новый человек, пришедший на фабрику, уже обязательно знакомился с Андреем Николаевичем. Если он раньше ничего не слышал об этом старике, то невольно с почтительным удивлением приостанавливался перед этой благообразной фигурой. Широкий, мощный лоб, большие глаза, ниспадающая на грудь окладистая борода без единого черного волоса, седое полукружье волос, окаймляющее лысину, — все это придавало Андрею Николаевичу вид патриарха. «Философ!» — приходило в голову человеку, впервые встретившемуся с ним.

Но Андрей Николаевич не был философом. Он был свой, «фабричный старик», и именно в этом качестве был известен всем рабочим.

Что он делал на фабрике? Этого никто точно не знал. Его видели сидящим на ящике из-под шпуль, погруженным в мысли, в сновальном, иногда он часами прохаживался по коридорам между ткацкими станками, а бывало без видимой цели сутками пропадал, весь облепленный пушинками хлопка, у приготовительных машин. Как он жил — тоже почти никто не знал. Известно только было, что по преклонности лет он получал пенсию, и по издавна заведенному обычаю сердобольные ткачихи, из тех, кто постарше, в очередь мыли пол в его комнатке, а перед праздниками — к первому мая, седьмому ноября и обязательно в женский день, белили мелом стены и потолок. Он принимал это, как должное, и даже иногда покрикивал:

— Что же вы медленно шевелитесь, ноги-то из чугуна что ли?!

Ткачиха не отвечала, выжимала последний раз тряпку в широкое ведро, ополаскивала его и, попрощавшись, уходила.

Когда перед самой войной был назначен новый директор, он, столкнувшись с Андреем Николаевичем в ткацкой и пораженный его внешним видом, спросил:

— Вы что делаете на фабрике?

Тот помолчал, и широкие, но потускневшие уже, глаза были устремлены на рот говорящего. Директор понял, что, как многие из старых ткачей, этот старик был глуховат.

— Ткач? — прокричал директор в ухо старику.

Андрей Николаевич несколько мгновений молчал, беззвучно жуя губами, и потом ответил:

— Мюльщик.

— Что? — не понял директор. — Какой мюльщик? Когда же здесь мюли были? Что вы тут делаете?

Но вопрос этот был обращен в воздух. Андрей Николаевич уже повернулся и неспеша пошел дальше по цеху.

Стоявший здесь поммастер, разбитной и шустрый Василий Кондратьев воспользовался случаем, чтобы, как он потом выразился об этом разговоре, «сразу поставить директора в курс переживаемых событий».

— Это, — сказал он, оживленно жестикулируя гаечным ключом, зажатым в правой руке, — наш фабричный дедушка. Он — ничего особенного, так себе.

— Что значит «так себе»? — спросил директор, опасливо следя за движением ключа в руке Васи. —Что он здесь делает?

— Живет!

Директор пожал плечами:

— На фабрике не живут, а работают, — бросил он недоуменно и, вернувшись после обхода к себе в кабинет, сказал секретарю, чтобы тот позаботился отнять пропуск у какого-то бродячего старика на фабрике.

— Вы его найдете в ткацкой, такой, знаете ли, картинный патриарх.

— А-а-а, — протянул секретарь, — это Андрей Николаевич. — Да у него никакого пропуска нет.

— Нет? — удивился директор, — как же его пускают на фабрику?

Теперь пришла очередь удивляться секретарю:

— А как же его не пускать? Андрея Николаевича нельзя не пустить. Да он никого и не спросит.

Директор был хотя и новым человеком на фабрике, но достаточно опытным в жизни, чтобы оценить своеобразность этого явления, и достаточно толковым, чтобы не вмешиваться пока в это дело. Все же он порешил, как говорится, «со временем вернуться к этому вопросу».

Время это, однако, пришло не скоро. Разразилась война, а с нею пришли и новые заботы. Пустующее ранее помещение в нижнем этаже, где издавна стояли демонтированные, без кареток, станки, было превращено в подсобный цех для изготовления марли. Этот цех стал любимым местом Андрея Николаевича. Теперь он уже не расхаживал по всей фабрике, а просиживал подряд по две смены, следя за спорыми, ловкими движениями работниц и вечным движением марлевых полотен, наматывающихся на навой.

Однажды директор, зайдя в этот цех во время обеденного перерыва, увидел странную картину. На перевернутом ящике сидел старик, окруженный работницами. Он что-то говорил едва слышным голосом, а женщины, сгрудившись около него, внимательно слушали, стараясь, видимо, не пропустить ни одного слова старика. Лица женщин были заплаканы. Увидя директора, они вежливо посторонились, дав ему возможность ближе подойти к говорившему.

А тот, не шелохнувшись, продолжал:

— ...А кругом трава. Вроде нашего проса. Только там она называется чумизой. Снаряды шипят, а пули, как осы. Снаряды тогда шимозами звались. Вот меня ударило пониже колена. Думал, пропаду. А все-таки не пропал. Вытащил меня, как его звали... — Старик пожевал губами и задумался. Потом, повидимому, потеряв нить своего рассказа, продолжал: — Нет, наш корень не только истребить, а и подсечь нельзя.

Директор круто повернулся. Надо как-то кончать со всей этой историей, — подумал он. — И так время нелегкое, а тут еще старик расстраивает работниц...

Он взглянул на часы. До заседания партийного бюро осталось пять минут, ровно столько, чтобы наскоро вымыть руки и захватить папку с бумагами.

Когда он вошел в комнату секретаря партбюро, там все были в сборе. За столом сидел Андрианов, бережно держа перед собой левую руку: он только что был демобилизован после ранения, и коммунисты избрали его — бригадира, вновь возвратившегося на свою фабрику и овеянного теперь воинской славой, секретарем организации. С особым удовольствием директор задержался взглядом на лице секретаря комсомольской организации Васи Кондратьева, этого самого озорного поммастера, который, жонглируя ключом, объяснял ему в свое время, кто такой Андрей Николаевич. Это опять напомнило директору о старике, и он решил тут же на бюро, после всех дел поговорить и об этом.

Так он и сделал. Когда коммунисты, выслушав доклад директора о выполнении плана, вынесли решение, показывающее, как улучшить работу дальше, и заседание было закрыто, директор поднял руку, жестом останавливая уходящих товарищей.

— У меня еще один вопрос. Собственно, не вопрос, а недоразумение. Захожу я сегодня в особый цех и вижу... — и директор описал виденную им в цехе картину, о речи старика и о заплаканных ткачихах.

Все присутствующие отлично знали Андрея Николаевича.

Наступило молчание.

— Ну, и что же ты хочешь? — спросил секретарь, болезненно поморщившись, может быть, потому, что у него болела рука.

— Надо кончать с этим делом! — произнес вслух директор уже давно сложившуюся у него в голове фразу. — Рассказывает он нашим работницам байки, а работницы плачут. Жди после этого производительности!

— Всякие слезы бывают, — задумчиво сказал Андрианов. — Бывают и такие, вроде живой воды. Так, какие предложения будут? — спросил он неожиданно официальным тоном.

Опять все помолчали.

— А что если позвать сюда старика и потолковать с ним? — сказал начальник ткацкого цеха, тоже уже очень пожилой человек. — Времени это немного отнимет, а польза может будет.

— Сюда? — удивился директор, — на партийное бюро?

— Отчего же нет? — ответил Андрианов, поглаживая свою больную руку. — Заседание мы уже закрыли, а почему не поговорить нам со старым человеком? Это же все-таки не простой старик. Он еще здесь мюльщиком работал. Когда еще у нас мюли были! Даже не всякий старик это помнит. Как же нам его сейчас найти?

— Я схожу за ним, — с радостной готовностью откликнулся Вася и выскочил из комнаты.

Через несколько минут он вернулся вместе со стариком.

— Садитесь, Андрей Николаевич, — сказал ему секретарь, вставая и подавая свой стул. — Говорят, что сегодня вы нашим молодкам трогательную историю какую-то рассказали. О чем это вы?

Андрианов кричал старику эти слова в самое ухо, и тот понимающе кивал головой после каждой его фразы.

Потом он неожиданно спросил:

— А это у тебя чего? — и показал на обвязанную руку секретаря.

— Это я ранен был, — прокричал старику Андрианов. Тот понимающе кивнул головой.

— Вот я вроде этого и рассказывал, про русского солдата.

Директор не выдержал:

— Ну, это уж вы не то говорите, — сказал он запальчиво. И все более раздражаясь, добавил: — Вы вроде кирпича в коридоре: никакой пользы, а только вред: человек споткнуться может и расшибиться.

Он кричал и от волнения, и потому что перед ним кричал секретарь.

Тогда старик встал. Он подошел вплотную к директору и тихо, как иногда говорят глухие, сказал:

— А ты где родился?

— А что? — удивился директор.

— Ты где родился, спрашиваю, — повторил старик, и в его голосе было столько силы и ясной чистоты, что директор, сам не зная почему, робея ответил:

— В городе Орле.

— Дома значит, — продолжал старик.

— Дома, или может быть в больнице.

— А я в лесу, — сказал старик.

— Я родился в лесу, — продолжал старик, — вот ты ходишь мимо поселка. Там лес был. Моя мать на сносях пошла в поземку к хозяину на дачу кланяться, чтобы дал ей кусок миткаля. А поземка пургой обратилась. Шла она после работы в ночь и страшно стало. Прилегла на снег под дерево и родила меня. Пуповину перегрызла. Сняла с головы полушалок, укутала меня и побрела к смерти. Спасибо, кто-то проходил из рабочих. Тоже горемыка. Отвел ее в избу лесника. Это все мне мать рассказывала, когда я на фабрику поступил. Было мне тогда, не запомню, не то восемь, не то девять лет. А сейчас ты говоришь, что я вроде кирпича.

Старик говорил все это спокойно, не повышая голоса, и, хотя между этим рассказом и заданным ему вопросом не было никакой видимой связи, директор почувствовал, как горячий огонь крови заливает все его лицо, уши и даже кожу на голове. Он почувствовал острое ощущение стыда.

— Да я же ничего не говорю, — сказал директор, проведя рукой по лицу, задержавшись ладонью на глазах. — Я ничего не говорю, — повторил он, внезапно просветлев. — Я только к тому, что женщины кругом плакали, когда вы им рассказывали.

Старик молчал. Молчали и все присутствующие. Потом старик сел на стул и, видимо, отвечая своим мыслям, продолжал:

— От этого большого греха нет. Человек существо живое. Ему иногда и поплакать надо. Он, бывает, от этого только крепче становится.

— Сергей Федорович, — не выдержав, обратился Кондратьев к Андрианову, — я как секретарь комсомольской организации прошу вас: отдайте Андрея Николаевича нам.

Этот возглас разрядил общее напряжение.

— Как это отдать вам? — спросил Андрианов. — Что же он действительно кирпич что ли? — И хотя Андрианов даже не посмотрел в сторону директора, произнося эти слова, тот опять почувствовал, как выступила краска на его лице.

— Ну, ну, — сказал он примиряюще и немного искательно. — Ну, ну, бывает же, что человек ошибается. Не всякое лыко в строку.

— Бывает такая строка, что весь лапоть портит,— неприязненно отозвался Андрианов. — А для чего же вам, комсомольцам, Андрей Николаевич? — спросил он затем у Васи.

— А мы его заведующим в молодежное общежитие поставим, — сказал Вася.

— Не стар ли будет? — спросил Андрианов. Разговор шел вполголоса. Андрей Николаевич, погруженный в раздумье, не слышал его.

— Нет, нет не стар. В самый раз. Нашего дедушку вся молодежь любит, — живо откликнулся Вася.

— А вот мы его самого спросим, — сказал Андрианов и повернулся к старику: — Слышь, Николаич, вот молодежь просит тебя главнокомандующим над ихним общежитием стать. Как ты?

— Не пойду я никуда, — ответил старик.

— Почему же, Андрей Николаевич? — умоляюще сказал Вася. — Молодежь вас и любит, и слушается.

— С фабрики я не уйду, — сказал теперь уже упрямо старик.

— Да это на самой же фабрике, — чуть не простонал Вася. — В том здании, знаете, где раньше трепалка стояла.

— А, трепалка, — протянул старик и по его тону нельзя было понять, что означает этот возглас: согласие или отказ.

— Пойдем, дедушка, сейчас со мной, — взял старика за руки Вася. — Пойдем, увидишь, как там интересно.

— Интересно? — усмехнулся старик. — Ну, ради интереса пойдем. — Он поднялся, неожиданно легко, и, не прощаясь, пошел к двери.

— Подождите, Андрей Николаевич, — крикнул директор. — И я пойду с вами.

Так они пошли трое к двери, и все молча провожали их потеплевшими глазами. Когда дверь за ними закрылась, кто-то из оставшихся в комнате сказал:

— Вот тебе и кирпич в коридоре.

Тогда встал секретарь парткома:

— Пусть это неладное слово умрет здесь. Никогда не напоминайте его ни старику, ни директору. Они поняли друг друга. Вот увидите.

Все читатели, конечно, знают заведующего общежитием молодых ткачих старика Андрея Николаевича. Это о его общежитии писали в газетах, как о самом образцовом. Может быть, это отчасти происходит потому, что нет для молодых ткачих более интересного и волнующего часа, чем вечерние рассказы старика о трудном пути, по которому пришли рабочие к своей власти. Но, конечно, это происходит и потому, что общежитие, которым заведует Андрей Николаевич, самое любимое у директора. Кому-кому, а этому общежитию всегда достанутся и лучшие одеяла, и отлакированные тумбочки, и даже пианино, специально для него приобретенное директором фабрики.

А если вы хотите в свободный субботний вечер увидеть директора, пройдите в комнату Андрея Николаевича. Вы обязательно застанете их обоих в неторопливой беседе. Но не приходите туда в канун праздника. Ткачихи в установленную очередь моют у старика пол и белят мелом стены.

ЧАСЫ

I

Разговор, собственно, был уже закончен, оставалось только распроститься, и, прямо говоря, я не особенно об этом жалел: разговор не удался. Правда, мой блокнот был покрыт цифрами и изложением фактов, сообщенных мне секретарем партийной организации, но факты и цифры эти годились разве только для ведомственной докладной записки. Собственно, никто не был виноват: так случается довольно часто — разговор с самого начала принимает какой-то сухой характер, беседующие обмениваются с виду многозначительными и серьезными фразами, но за ними нет жизни. Не всегда удается так настроить собеседника, чтобы он, отвлекшись от готовых, тысячу раз повторенных ранее фраз, какой-нибудь, пусть немногозначительной, но яркой деталью, как мимолетным лучом солнца, осветил бы подлинную жизнь.

Что ж поделаешь! Я закрыл блокнот:

— Спасибо за время, которое вы мне уделили. Кстати, сколько времени?

— Который час? — и впервые за время нашей беседы секретарь парткома улыбнулся. Мне даже показалось, что Николай Денисович хитро подмигнул кому-то, хотя, кроме нас двоих, никого в его кабинете не было.

— Который час? — повторил он, теперь уже несомненно подмигнув, — для этого нам придется подняться на третий этаж, в зал автоматических станков.

Теперь понятно стало, к чему относилось подмигивание секретаря:

— У нас с вами, видимо, общая болезнь, — сказал я ему, — у меня тоже часы не держатся. То расшибешь, то потеряешь, а то просто без видимой причины отказываются служить.

— Нет, почему же, — возразил Николай Денисович. — У нас часы держатся. Очень даже держатся!

Он резко поднялся и вышел из кабинета, предупредив этим мой вопрос о смысле произнесенной им полузагадочной фразы.

Пока мы поднимались по лестнице с широкими металлическими ступенями (Николай Денисович впереди), я подумал, что не только речь и лицо человека, но и его походка, и спина могут дать некоторое представление о характере. Николай Денисович ставил ноги твердо, всей ступней, но это была не грузность пожилого человека, а уверенность и внутренняя собранность. Он не размахивал руками, но пальцы вели какую-то сложную игру, то сжимаясь в кулаки, то растопыриваясь так, что чувствовалось напряжение в мышцах. Он, видимо, размышлял о чем-то и вел неслышный разговор с собой. Ни разу не прикоснулся он к перилам, хотя лестница была довольно крута, а на поворотах, несмотря на то, что был занят какой-то своей мыслью, останавливался, чтобы подождать меня.

Цех автоматических станков встретил нас знакомой трескотней челноков, слышной еще на последней площадке лестницы. Мельчайшая, рассеянная пыль искусственного увлажнения, размеренные движения ткачих от одного станка к другому, едва уловимый специфический запах шлихты, проникший сюда из приготовительного отдела, — вся эта знакомая до мелочей обстановка обычной ткацкой фабрики действовала успокаи-

вающе, и я не только забыл о последней фразе, сказанной секретарем парткома в его кабинете, но даже и о цели нашего путешествия в цех. Я поэтому удивился, когда, миновав два или три комплекта, Николай Денисович остановился у стены и сказал, ткнув пальцем в висящий на ней лакированный ящик:

— Пожалуйста.

Видимо, прочтя недоумение на моем лице, он добавил:

— Вы хотели узнать, который час. Пожалуйста. Откройте ящик.

Но прежде, чем я протянул руку к отлакированной крышке ящичка, между мной и стеной возник молодой человек. Если бы даже он не держал в руках ключа и гаек, его профессию поммастера можно было безошибочно определить по комбинезону, покрытому пятнами смазки, мотку бечевки, выглядывающей из кармана, следам копоти на лбу и щеках, а главное — по открытому, несколько даже, пожалуй, дерзкому взгляду, которым отличаются молодые помощники мастеров, досконально знающие свое дело и чувствующие себя настоящими хозяевами комплекта.

Он столь неожиданно и решительно встал между мной и ящичком, что я невольно отдернул руку.

— А-а-а, вот и Николай Курбатов, — сказал секретарь парткома. — Познакомьтесь. Это — помощник мастера тринадцатого комплекта, того самого, о котором я вам говорил. Мы пришли сюда, — продолжал он, обращаясь теперь к Курбатову, — чтобы узнать, который час. Можно?

Помощник мастера явно обрадовался:

— Можно, можно, — сказал он с большой готовностью. — У нас часы точные. По кремлевским ходят. Только я сам их вам покажу.

Он открыл крышку ящичка и там, на бархатной подушке, лежали ручные часы. Обычные мужские часы, сверкающие никелем и стеклом.

Стрелки показывали тридцать пять минут одиннадцатого.

Было уже действительно поздно. Я поблагодарил и, каюсь, несколько раздраженный тем, что для того, чтобы узнать время, понадобилось столь продолжительное путешествие, попрощался с Курбатовым.

— Я бы на вашем месте, — сказал секретарь парткома, — все-таки осмотрел эти часы внимательней. — Он вынул их из ящичка и показал мне тыльную сторону. На ней строгим шрифтом была выведена надпись:

«За умелое ведение боя — от командования Н-ской дивизии».

— Почему же они здесь?

— Это вам расскажет Николай Курбатов.

— Видимо, он совсем мальчишкой воевал?

— Он и не воевал. Расскажи, Николай, как попали к тебе эти часы.

— Нет уж, Николай Денисович, — просяще ответил поммастер. — Уж лучше вы сами. Мне и к станкам надо идти.

— Что же, выходит я-то бездельничаю? — рассмеялся секретарь парткома. — Ну, ладно. Будь по-твоему. Рассказ этот, действительно, важный.

Мы спустились опять вниз — под грохот станков говорить было трудно, — и Николай Денисович начал свой рассказ.

II

Эти часы для нас дороже, чем если бы они были из чистого золота. Они, если угодно знать, показали, какие хорошие люди вокруг нас. Не то, чтобы мы раньше этого не знали. Но тут это получилось, как какая-то большая, захватывающая душу картина. Впрочем, вы сами все поймете. Я только буду рассказывать. Закройте блокнот: то, что вы от меня услышите, мне кажется, трудно записать.

Я вам говорил уже, что тринадцатый комплект у нас передовой на фабрике и по уплотнению, и по производительности, и по качеству. Но это было так не всегда.

Несколько месяцев назад, точнее, в декабре, комплект был худой. Мало того, что он плохо работал. Нас всегда смущало другое обстоятельство: и ткачихи, и Николай Курбатов считали, что вина в чем угодно — плохой основе, гнутых ламельках, недостаточной влажности, или, наоборот — в слишком большой влажности — в чем угодно, но только не в них.

Не знаю, знакомы ли вы с заведующим фабрикой.

Жаль! Матвей Никандрович Круглов — хороший человек, но горячий. И не только в поступках, а и в мыслях. Тринадцатый комплект стал у него бельмом на глазу. Как-то на заседании парткома, когда его опять упрекнули за этот комплект, он вскипел:

— Я предлагаю выпроводить их всех к чортовой матери. И мастера, и ткачих. На них свет клином не сошелся, найдем других. А этих переведем в разнорабочие. Целоваться с ними, что ли?

Весь побледнел, трясется, видим, действительно, до горла дошло у человека.

Сами понимаете, смена помощника мастера и ткачих на комплекте дело, так сказать, чисто хозяйственное. Парткому в такое, собственно, не следовало бы и вмешиваться. Тем более, что на заседании нашем был и директор, и по всему видать — хоть он этого и не говорил, может быть, потому что еще не успел — держится одного мнения с заведующим фабрикой.

Не хочу из себя строить героя и чтеца в человеческих сердцах. Но посмотрел я на других членов парткома, вижу, что-то им не по себе. Да и у меня какой-то неприятный осадок от этих слов. Прямо скажу, чуть не к горлу подкатывает.

— Подождем с этим делом, — говорю я. — Давайте к следующим вопросам, а ты, Матвей Никандрович, после парткома останься.

Провел я этот партком, прямо скажу, неважно. В голове, как гвоздь какой-то — тринадцатый комплект. Наконец, закрыл я заседание, все разошлись, остался я с Матвеем Никандровичем и сам не знаю, что я ему скажу.

— Слушай, — говорю ему, наконец. — Ведь это не может быть.

— Что не может быть?

— Не может быть, чтоб эти ребята не хотели работать. Ну, кто они такие? Скажи мне! Знаешь ты, кто Колька Курбатов?

— Знаю, — отвечает. — Колька и Колька. Семнадцать лет от роду. Кончил ФЗО, дерзкий и на язык спорый, а на работу лодырь.

— А отца его знаешь?

— И отца знаю, — уже тише отвечает мне Круглов. — В сорок втором погиб.

— А кто ткачихами на тринадцатом?

— Таня Коршунова, Мария Левченко, Шура Андрианова.

— А их знаешь? Отцов, матерей их знаешь?

— Как же не знать, — все ивановские. Здесь родились, здесь росли, здесь и живут. Как же не знать!

— Ну вот, а теперь объясни, почему же они не работают? Что они — другой породы, что ли? Вот биографии их ты знаешь, а почему не работают и, главное что сделать, чтобы они работали как надо, — не знаешь. И я не знаю. Выходит надо узнать. Надо найти в них такую жилку, которую если затронешь, человек сам себя поймет.

Молчит Матвей Никандрович Круглов. И я молчу. Чувствую, что слова мои, может быть, хорошие, но опереться в них по-настоящему не на что.

Так долго мы что-то молчали. Потом Матвей Никандрович встал.

— Ладно, — говорит, — учту, секретарь. Что сделаю, еще сам не знаю, но постараюсь что-то сделать. Есть правда в твоих словах.

Так он и ушел, а я долго сидел тут за столом и все, знаете, размышлял на одну и ту же тему: как найти правильный подход к каждому человеку? Люди, кажется, все у нас одинаковые, в том смысле, что хорошие люди, а все же у каждого своя струна звучит. Как ее найти?

Прошло несколько дней. Комбинат у нас, сами знаете, большой и за всеми делами я и забыл о тринадцатом комплекте.

Приходит как-то ко мне секретарь цеховой организации и говорит, что сегодня Матвей Никандрович хочет собрать общее собрание второй смены. Порядок дня — работа тринадцатого комплекта.

— Что ж, — отвечаю, — дело доброе. А сам про себя решил — обязательно быть на этом собрании. Прихожу я в столовую — собрание смены у нас всегда в столовой бывает — народ начал приходить. Нет только Николая Курбатова и Тани Коршуновой—ткачихи второй смены. Приходят, наконец, и они и садятся в самый дальний угол.

Подсел я к ним: как, спрашиваю, работа? Отмалчиваются. Видно, все по-старому.

Тут вошел в столовую Круглов. Взглянул я на него и вижу—будет что-то важное. Одел не штатский костюм, в котором всегда бывает на фабрике, а свой военный мундир, и вся грудь у него сверкает от орденов и медалей.

Подошел он к столу и вижу, не может человек от волнения начать говорить.

А как начал, так стали слушать его все как завороженные. Он стал говорить не о цехе, не об основе, не о станках, а про свой полк и его битвах на Курской дуге. Да как говорить! Не то, чтоб стал рассказывать о сражении, или какие-нибудь там боевые эпизоды, а о людях, да всех их по именам — о разведчиках, о командире роты, о героях — живых и погибших.

— И вот, старший сержант Леонтьев, Андрей Николаевич, бросившись с гранатой под танк, перебил ему гусеницу, а сам погиб. Помним ли мы его? Помним! И чтим память героя, как и миллионов других героев своей родины. Они нам спасли нашу жизнь, нашу честь, умирая, завещали они крепить нашу страну. Помним ли мы это? Да, помним! Все? Все! Если не считать отдельных людей, у которых нет, наверно, в душе чести, а в уме — памяти.

Как сказал он эти слова, меня дрожь проняла. Ну, думаю, теперь назовет он имя Николая Курбатова и Тани Коршуновой. И чувствую я, что не только эти молодые люди, но и я — человек уже старый и много видевший на своем веку — не перенес бы такого оскорбления, такой обиды.

А тут Круглов остановился. Не говорит больше ничего, только смотрит на Николая и Таню. Они сжались и тоже смотрят на него, не в силах оторвать глаз.

Вдруг, видим мы, Круглов лезет в карман, вынимает оттуда часы, целует их и поднимает над головой.

— Эти часы, — говорит он, — я получил в бою на Курской дуге. На них написано «За умелое ведение боя — от командования Н-ской дивизии». Мы продолжаем борьбу за наше отечество. Пусть эти часы навсегда получит лучший помощник мастера за выполнение квартального плана.

Опять поцеловал он часы, отдал их в руки секретарю цеховой партийной организации и сказал:

— На этом собрание считаю законченным.

И сам ушел первый. Я все-таки догнал его в цеху и пожал ему руку. Может быть, это и не совсем обычно было — такое его предложение, но сделал он это от души, от глубоких своих чувств и переживаний, а партийный работник особенно должен ценить, когда так открывается душа человека.

Уже на следующий месяц мы все увидели, как выпрямляется тринадцатый комплект, с каждым днем дела у него идут все лучше и лучше, и уже за две—три недели до конца квартала всем нам стало ясно, что часы получит Николай Курбатов.

Так оно и случилось. Пригласил я к себе Матвея Никандровича Круглова, поздравил я его с успехом и предложил ему созвать общее собрание смены, на котором торжественно вручить часы Николаю.

— Ну, теперь, — говорит Матвей Никандрович. — надо придумывать другой подход к этому пареньку.

— А что так?

— Получит часы и успокоится.

Тут уж я вскипел:

— Ты, говорю, Матвей Никандрович, человек горячий, и сам иной раз не понимаешь что говоришь. Ты думаешь — они так работали ради часов? Ты к жизни их вызвал! Понимаешь ты это сам?

— Что ж, — отвечает Круглов, — я первый буду рад этому. Но все-таки уж больно молодые ребята они. Пройдет порыв у них, и все.

Расстались мы с ним суховато, но он все сделал, как я просил: на собрание опять пришел во всех своих орденах, и при нем секретарь цеховой партийной организации вручил часы Николаю Курбатову.

На следующий месяц тринадцатый комплект завалился. Должен вам сказать, давно я не испытывал такого горя. Дело уж тут шло не о метрах ткани, а о человеке. У меня как-будто что-что оборвалось внутри: как же так, думаю, неужели для этих молодых ребят часы были только обыкновенными часами за триста или четыреста рублей, и не увидели они в них ничего кроме этого! Как-то вечером открывается дверь и входит ко мне — кто бы вы думали? — Николай Курбатов, а с ним Таня Коршунова.

— Здравствуйте, — говорят.
— Здравствуйте и вы.
Лезет Николай Курбатов в карман, вынимает тряпочку, развертывает ее, а в ней часы.
— Вот! — говорит. И кладет их на стол.
— Это что?
— Часы.
— Так их же тебе подарили навсегда. Совсем.
— Нет, — говорит, — теперь мы их недостойны. — Вот выравняемся, тогда отдайте их нам назад. — Говорит, а у самого слезы из глаз да большие такие, крупные.
Тут я не сдержался. Думаю только об одном: как бы самому не заплакать. Обнял я и Николая и Таню, расцеловал их, посадил, а сам к телефону. Велел найти Матвея Никандровича Круглова и позвать его ко мне.
Он человек живой, горячий и острый. Как вошел, увидел у меня Николая и Таню, часы, лежащие на столе, только спросил у Курбатова:
— Сам принес?
— Сам, — отвечаю я за поммастера.
— Ну, что ж, — говорит Круглов. — Одно могу сказать, товарищ Курбатов: виноват я, что плохо о тебе подумал, а часы возьми.
— Нет, не возьму, — отвечает Николай. — Завоюю, тогда возьму.
А когда квартал кончился и часы были переданы другой бригаде, то Михаил Ларионов — помощник мастера победившего комплекта — предложил, чтоб эти часы теперь присуждались ежемесячно комплекту-победителю. С тех пор, вот уже четвертый месяч подряд часы висят на стене у комплекта Николая Курбатова.
...Секретарь парткома, закончив свой рассказ, погрузился в молчание. Видимо, он еще раз переживал всю эту историю.
— Задержал я вас, — сказал он наконец. — Может быть, пойдем на ткацкую, узнаем который час?
Часы Николая Курбатова показывали четыре утра. Час рассвета.

ДОБРАЯ ССОРА

I

Лет пятнадцать назад их пути разошлись, но они попрежнему остались хорошими товарищами. Оба они окончили Промакадемию в 1932 году. Выпуск был назначен на октябрь, но уже в июле Андрей Николаевич знал, что будет работать в Наркомате, а Николай Дмитриевич наотрез отказался идти куда-либо, кроме своей фабрики, на которой он и до этого проработал восемь лет и где в свое время расхаживал за кареткой мюля еще его отец.

Работал он там до академии неплохо и теперь, собственно, не было никаких оснований не удовлетворить его желания.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Андрей Николаевич за это время пошел сильно в гору и занял видное место в министерстве. Николай Дмитриевич попрежнему директорствует на своей фабрике и почти не изменился, если не считать седины и маленькой голубовато-синей ленточки ордена Трудового Красного Знамени в петлице, почитай того же пиджака, что и пятнадцать лет назад. Орден он получил в годы войны за безукоризненное выполнение специального заказа.

Время и расстояние не нарушили дружбы приятелей. Андрей Николаевич раза два—три в год непременно приезжал в родной город, тем более, что к тому понуждали его не только воспоминания молодости, но и дела на многочисленных текстильных фабриках. В главках знали, что, когда Андрей Николаевич приезжает, нет необходимости готовить ему номер в гостинице и заботиться о других прозаических, но важных для человека вещах, вроде ужина и завтрака. Несмотря на то, что фабрика Николая Дмитриевича находилась не в самом городе, а километров за двадцать от него, столичный гость всегда останавливался на квартире ее директора.

Так случилось и на этот раз. Тотчас же по приходе поезда из Москвы секретарь Андрея Николаевича позвонил Николаю Дмитриевичу:

— Готовьте пироги, — прокричал он в трубку, — мой старик приехал.

— Ладно, будет с него и черного хлеба, — ответил Николай Дмитриевич с фамильярностью старинного знакомого. — Может, и вы пожалуете, молодой человек? И для вас корочку найдем!

— Нет, я уж в городе побуду. Мне Андрей Николаевич приказал жениться на здешней. Вот я все и подыскиваю.

— Ну, ну! — Директор закончил разговор, принимающий, по его мнению, излишне фривольный характер, и, положив трубку, пошел к себе на квартиру, здесь же, на фабричном дворе, предупредить жену о госте.

Андрей Николаевич приехал только к вечеру и раньше всего, по заведенному порядку, зашел в контору фабрики. Поднявшийся ему навстречу из-за стола директор поздоровался и, не говоря ни слова, направился к двери.

— Ты куда?

— На фабрику, — с оттенком недоумения откликнулся Николай Дмитриевич. — Разве не пойдем?

— Ты уж прости меня, сегодня не пойду. Устал я что-то очень. Да и что мне смотреть у тебя? Дела как будто идут неплохо...

— Да вроде, как будто, идут, — тщетно стараясь скрыть свою гордость в равнодушном тоне ответил директор. — Сто два и сто три и пять, — добавил он, по привычке текстильщиков называя первой цифрой — по прядению и второй — по ткачеству.

— Вот и ладно. А теперь, — сказал гость, — можно на поклон к Дарье Фоминишне!

В это время дверь открылась и в комнату вошел человек.

Он заметно смутился, увидев, кроме директора, еще постороннего, и хотел было повернуться, чтобы уйти.

— Что, Иван Александрович, дело есть какое? — остановил его директор.

— Да нет, я уж завтра.

— Так я уйду, если мешаю, — сказал Андрей Николаевич.

— Да что ты, что ты, какое тут может быть мешанье, — возмутился директор и обратился к вошедшему: — Что у тебя?

— Да у меня личное дело. Просто хотел до получки призанять рублей пятьдесят.

— Чего же тут стесняться, дело житейское. — Николай Дмитриевич написал что-то на клочке бумажки и подал ее вошедшему:

— Отдай в бухгалтерию, там тебе выпишут.

Потом, записав что-то в лежащую на столе тетрадь, он обернулся к гостю:

— Пошли, что ли, сколько ни сиди, всех дел не сделаешь.

Они вышли на двор.

Уже на лестнице, перед самой дверью в квартиру директора, Андрей Николаевич придержал его за локоть:

— Кто это приходил к тебе за деньгами?

— Ткацкий мастер Андрианов. Он переведен сюда из самого Иванова. А что?

— Да так, — рассеянно ответил гость и сам нажал на кнопку звонка.

II

Вечер проходил плохо. Дружески поздоровавшись с Дарьей Фоминишной, гость, отлично знающий расположение комнат в квартире, пошел на кухню, вымыл под краном руки и прошел в столовую, где его уже ждали хозяева. Тяжело опустившись на стул, он первым делом отодвинул от себя стоящую у прибора рюмку.

— Что так? — удивленно спросил Николай Дмитриевич. — Мне и твой секретарь про эту шутку сказывал.

— Мало ли что он наговорит, что-то не хочется сегодня. Вот чайку бы, если можно... Всем хороша Москва, — продолжал он, обращаясь теперь к хозяйке, — только самоваров нет. Самовары-то есть, да дырок этих в квартирах нет, куда самоварную трубу просовывать. Одно слово — цивилизация заела...

Шутливые слова не вязались с его угрюмым тоном и усталым видом. Андрей Николаевич сидел молча, насупившись, упорно рассматривая переплетение нитей на

скатерти, как будто бы именно для этого он и приехал сюда, к директору фабрики.

Задумался и тот, глядя на лицо своего гостя. Андрея Николаевича нельзя было, пожалуй, назвать старым, особенно, когда он двигался или говорил что-нибудь, как всегда, живо, увлекательно, поблескивая белыми зубами и молодым взглядом глаз. Но теперь, когда он сидел молча, опущенные книзу уголки рта, нервное, едва уловимое дрожание почти опущенных век, две глубокие борозды морщин на лбу и как-то внезапно заострившиеся нос и скулы делали его сразу старым.

«Да, постарели мы оба, идут годы, как вода течет», — подумал про себя Николай Дмитриевич и, не сдержавшись, произнес вслух:

— Идут годы-то, идут...

— Идут, — неопределенно откликнулся Андрей Николаевич, и потом, без всякого видимого повода, спросил, остро посмотрев на друга: — А часто к тебе мастера приходят одалживать деньги?

— Частенько, — ответил директор. — Что ж поделаешь, жизнь не легкая.

— Жизнь не легкая, — повторил гость, — и что же, у тебя даже список должников есть? — опять остро вскинул он взгляд.

— Есть, — уже несколько смутясь, ответил Николай Дмитриевич. Он не понимал, к чему клонит разговор гость, но чувствовал в нем что-то нехорошее.

— И, поди, благодетелем себя считаешь? — поднялся со стула Андрей Николаевич.

— Ты что? — поднялся и директор. — Что значит благодетель? Вижу — человеку трудно. Почему ж не помочь до получки? Я на днях и лоскута дал метров четыреста. Что ж мне, отгораживаться от рабочих, что ли?!

— Ка-а-к! — протянул Андрей Николаевич, — отгораживаться?!

Он выпрямился, и Николаю Дмитриевичу показалось, что гость стал на голову выше. — Да ты не отгораживаешься от рабочих, а мешаешь им жить!

— Это я-то мешаю? Это я-то? — задохнулся директор. — Да знаешь ли ты, что я всю жизнь отдаю

за наше общее дело? И за фабрику! Да как ты смеешь!

Теперь они оба кричали, уже плохо слыша друг друга.

На шум пришла из кухни Дарья Фоминишна.

— Что у вас так шумно, опять о производстве? Отдохните вы хоть часок!

— Да ты знаешь, ты знаешь, — начал об'яснять ей муж, но его перебил гость:

— Вы нас извините, Дарья Фоминишна, мы тут немножко погорячились. — И, оборотясь к директору, добавил: — Пойдем на фабрику.

— Никуда я не пойду. Я сегодня свое отработал, — сердито огрызнулся хозяин и демонстративно плотно уселся на диван.

— Товарищ Ступаков, я прошу вас пойти со мной на фабрику, — сказал гость, и по тому, что он назвал его по фамилии, а не по имени, Николай Дмитриевич понял, что теперь к нему обращается не старый товарищ, а большой начальник. Молча он вышел в переднюю, дрожащими от негодования руками нахлобучил кепку. и спустился по лестнице, слыша за собой шаги Андрея Николаевича.

Фабричный двор они пересекли молча, если не считать происшедшего между ними короткого диалога:

— Какой у вас средний заработок ткачихи?

Директор ответил.

— А ватерщицы?

Директор назвал цифру.

— Почему так мало? Впрочем, это вас не беспокоит. Вы ведь даете взаймы и выдаете лоскут.

Директор молчал, оскорбленный в своих лучших чувствах, а гость, видимо, не имел намерения продолжать разговор.

III

В приготовительном отделе гость подошел к чесальным машинам и движением руки приказал остановить одну из них. Он нагнулся над машиной, а затем взглянул на директора. Тот понял его без слов: во многих местах на карде вместо иголочек торчали выщербленные огрызки.

— Запас на складе есть? — спросил Андрей Николаевич.

— Есть, — ответил директор.

— Когда в последний раз смазывали машину? — спросил гость работницу.

— Третьего дня.

— Поди часто останавливается?

— Бывает,

— Что ж, вас не учили смазывать?

Работница замялась.

— Видимо, плохо спрашивают с вас. Машина у вас плохо работает, выработка низкая, и заработок потому неважный. Не так ли?

— Похоже, — сказала работница. Андрей Николаевич опять молча взглянул на директора и по витой железной лестнице поднялся вверх. Он остановился у рядов банкаброшей и в сверкании сотен вращающихся веретен увидел несколько машин, стоящих без движения.

— Почему веретена гуляют?

— Ленты нехватает.

— Ее и не может хватать при таких порядках. У вас на ленточных, уверен, та же картина.

Не ожидая ответа, он пошел дальше. У одной из ватерщиц он спросил, на скольких сторонках та работает. Услышав, что на двух, осведомился — не хотела ли бы она перейти на четыре.

— Ведь заработок будет больше, — сказал он.

— И государству лучше, — в тон ему ответила ватерщица.

— Вот-вот, — обрадовался Андрей Николаевич, — почему же вы не переходите на четыре?

Оживление работницы сразу померкло.

— Как же тут перейдешь! Надо машины просмотреть, ровницу улучшить, бегунки старательней подбирать. Я же этим заняться не могу, а никто про это не думает.

— Ну, спасибо за науку, — попрощался гость с ватерщицей и пошел в ткацкий цех.

Он открыл попавшийся ему на глаза ящик поммастера и жестом попросил заглянуть в него Николая Дмитриевича.

Среди кусков бечевки, разбросанных грязных ключей, обрывков кожи там лежала одинокая стоптанная тапочка, валялась замасленная скомканная газета, обломок напильника и еще непонятные куски металла, видимо, лежащие здесь испокон веков.

— В других лучше, — смущенно сказал директор.

— Возможно, но другие после этого и смотреть не хочется.

Он расхаживал между станками, пробуя то крепость натяжения нитей основ, то проверяя работу каретки, то, положив руку на батан, определял силу его удара. У одного из станков он поднял к глазам часы, одновременно следя за ходом станка и секундной стрелки,

— Какая скорость? — спросил он у директора.

— Плановая, заданная главком! — с вызовом ответил тот.

— Что ж, тем хуже для меня. Пожалуй, можно считать нашу экскурсию законченной. Позвоните в гараж. Я поеду в город.

Николай Дмитриевич промолчал, и только когда они вышли во двор, сказал, обращаясь к гостю:

— Слушай, Андрей Николаевич, ты, конечно, можешь сейчас уехать. Но я все-таки на твоем месте поступил бы иначе. Зайдем ко мне, поговорим.

— А разве нам есть о чем говорить?

— Кажется, есть.

Тот постоял несколько мгновений в нерешительности. — Ладно, — сказал он, — пойдем!

Дома их встретила притихшая Дарья Фоминишна: она поняла, что между друзьями произошло неладное.

— Так о чем ты хочешь говорить?

— Но ведь план-то я выполняю!

— Это одна беда, да-да, не смотри на меня так удивленно. Именно беда, если при всем этом ты выполняешь план. Какая же цена такому плану? Но это уже и наша вина, которую нам придется исправлять. Однако, не это главное. Ты говорил, что жизнь не легкая. Верно, не легкая. Трудностей немало. Но что ты, директор, делаешь, чтобы твоему коллективу было легче? Он вскочил и в большом, вновь овладевшем им, волнении прошелся по комнате. — Ты выдал несколько

сот метров лоскута, ты одалживаешь мастеру до получки несколько десяток и даже ввел это в систему, недаром же у тебя в столе тетрадка со списком. А в твоих руках есть действительная, настоящая возможность помочь людям, о которых ты обязан заботиться. Теперь ты видишь эти возможности?

— Вижу.

Но Андрей Николаевич, разгоряченный всем происшедшим, пропустил мимо ушей короткую реплику директора. Он продолжал, сжав кулаки:

— Увеличь уплотнение, приведи в порядок оборудование, позаботься о нормальной температуре, сделай чорт его знает еще что, чтобы лучше люди работали. Вот это им будет помощь! Настоящая! А не кусочек лоскута из кладовой.

— Это верно, — тихо начал Николай Дмитриевич, — и не думай, что я забуду это, как бы ни сложились дальше наши отношения и какой бы ты вывод ни сделал. — Но и я тебе скажу, — продолжал он, возвысив голос: — Когда вы, наконец, дадите такие челноки, чтобы они не ломались после трех часов? Когда будут каленые патроны? Когда мы избавимся от сортировки бегунков на фабрике? Когда... — и он тяжело перевел дух. Андрей Николаевич засмеялся. Это была его первая улыбка за весь вечер.

— В наступление переходишь, старик? Я ж не говорю, что я беленький. Меня тоже есть за что ругать, но ты, ты... — он подыскивал слово, не находя его. — Ты... Не вконец же ты замшел, — вымолвил он и обнял друга. — Давай поговорим поспокойнее.

Так и застала их Дарья Фоминишна.

— Ну, вот, — обрадованно сказала она, — я всегда говорю — «худой мир лучше доброй ссоры».

— Нет вы скажите, — отозвался гость. — Бывает так, что и без доброй ссоры не обойдешься.

— Бывает, — согласился хозяин. — Что ж, давай чай пить. Из самовара!

— Кажется, простыл, — сказал гость, — тем лучше — тогда сам бог велел выпить рюмочку. Так за что ж мы выпьем?

— За добрую ссору! — сказал Николай Дмитриевич, наливая вино.

А. Благов.

ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ

Чье имя славит
Голос всенародный?
О ком сердца
С любовью говорят?
Во всех краях,
По всей стране свободной
Товарищ Сталин —
Первый кандидат.

Он — лучший друг.
В его сердечном слове
Находим мы
Источник свежих сил.
На зов вождя
Мы к подвигам готовы:
В борьбе он волю
Нашу закалил.

Наш полководец,
В битвах за отчизну
Он на победы
Вдохновлял народ.
Учитель мудрый,
К солнцу коммунизма
Он верными путями
Нас ведет.

Родной отец,
Он знает мысли наши,
И нет заботы
Выше для него:

Чтоб с каждым днем
Цвели светлей и краше
Судьба и жизнь
Народа своего.
В день февраля,
В день радости высокой,
Со всей страной
Мы голос отдадим:
За Сталина,
За кандидата блока,
Что навсегда,
Навеки нерушим!

1946 г.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Ты, как мать,
Растишь меня, свобода,
Как весна
В лугах растит траву,
Под твоею лаской
Год от года
На земле
Счастливей я живу.

На земле,
Где так прекрасны дали,
Что похожих в мире
Нет нигде!
На земле,
Где дружба тверже стали
В боевой тревоге
И в труде.

Мы тревог
Немало пережили
И победу
Добыли в бою,
Потому что
Землю мы любили —

Вольную, советскую,
Свою.

Для любой работы
Мы готовы
На свободной,
На земле родной.
Зацветут поля
С весною новой,
Встанут нивы спелые
Стеной!

Встанут нивы,
Будут ярче горны,
Будет ткань
Красива и крепка.
Хватит рук
Могучих и проворных,
Чтобы жизнь построить
На века!

1946 г.

1947 ГОД

Старый год поклоном провожая,
Мы приветом встретим новый год.
По душе дорога нам прямая,
Что к победам Родину ведет.

Не сломились в битвах мы жестоких,
Победили в пламени войны,
Но осталось много ран глубоких
На груди родимой стороны.

Мы вернем красу ее былую—
Зацветет и вдоль она, и вширь;
Не растратил силу трудовую
Наш народ—могучий богатырь.

Год минувший — славное начало,
Пятилетки первая ступень;

Вместе с солнцем Родина встречала,
Словно праздник, свой рабочий день.

Дружны руки, что стране готовят
Сталь и уголь, хлеб и полотно!
Нас никто в пути не остановит,
Никому той силы не дано!

По душе дорога нам прямая.
Что к победам Родину ведет.
Старый год поклоном провожая,
Шлем привет тебе, грядущий год!

РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ УМНОЖЬ!

Зовет на подвиги страна.
К ее прислушивайся зову:
Тебе наказ дает она —
Отметить год победой новой.
На полный ход пусти станки
Движеньем опытной руки.

В работе твой изведан путь,
Вперед глядишь ты верным взглядом.
Но надо многих всколыхнуть,
Поставить их с собою рядом,
Любовно вырастить из них
Друзей труда передовых.

Ряды стахановцев умножь—
Учить других—твоя забота:
Прекрасна наша молодежь—
С душой и сердцем патриота—
В труде готова, как в бою,
Стоять за родину свою.

Нам дорог день, нам дорог час,
Нам дорог миг работы скорой:
Добротной ткани ждет от нас
Любой колхоз и каждый город,

Ждет вся свободная земля—
Цветного ситца, миткаля.

В соревнованьи трудовом —
Прямой залог победы нашей.
Мы строим жизнь в краю родном —
Светлее дня и солнца краше.
Наказ народа и страны
Мы свято выполнить должны!

1947 г.

М. Бритов.

ТАНКИСТ

Еще давно ль дорогою орлиной
Сквозь грохот битвы, первомайским днем,
Он танк свой вел по улицам Берлина
Врага сметая гневом и огнем.

Чрез неприступные хребты Хингана,
Необозримый, вспененный Амур
Он танк провел быстрее урагана
Дорогою возмездья в Порт-Артур.

Когда замолкли грозных пушек жерла
И завершен карающий поход,
Победа знаменем своим отерла
С его лица боев горячий пот.

Окончены походы боевые.
И пламенем труда озарена,
На подвиги иные, трудовые
Любовно позвала его страна.

Раскинулись пред ним необозримо
Колхозные, цветущие поля.
За трактором вскипают струйки дыма
И сочной свежестью пьянит его земля.

Рука лежит привычно на штурвале,
Вздымает плуг упругие пласты.
Товарищам своим, как на привале,
Словами мудрой, гордой простоты

Расскажет, как за честь родного края
Шел на врага бесстрашно впереди.
И ордена, медали озаряя
Застынет солнце на его груди.

Пусть кончились военные скитанья
И не задернут дымом небосклон—
Вождя великие предначертанья
Как в дни сражений выполняет он.

1946 г.

Л. Кудрин.

КОМАНДИР КОЛХОЗА

Когда весной над просветлевшим миром
Салют Победы прогремел в Кремле—
В своем колхозе, на родной земле,
Он снова стал колхозным командиром.
Нет, не напрасно по полям войны
К Берлину он прошел от Сталинграда!
Он научился воевать, как надо,
Победу добывая для страны.

Был путь его и труден, и опасен,
Но шел комбат в дыму пороховом
Не для того, чтобы сидеть в запасе,—
Чтоб побеждать на фронте трудовом.
Весна—пора большого наступленья,
Пора страды и славы трудовой,
И командир свои подразделенья
Расставил четко на передовой.

Вперед с разведкой высланы саперы —
Дороги строить и чинить мосты,
А в МТС уже гудят моторы,
Готовясь в поле поднимать пласты.
И как артиллеристы у орудий,
Пока не начал наступленье фронт, —
У всех машин заботливые люди
Проводят срочный, тщательный ремонт.

Он все учел, и командирским взглядом
Последний раз окинув семена,
Промолвил тихо: — Да, с таким отрядом

Мне никакая не страшна весна.
И, следуя приказу командира,
По боевой команде:—Выезжай!—
Весенним утром звенья, бригадиры
Вступили в бой за новый урожай.

1947 г.

Д. Семеновский.

К КОММУНИЗМУ РОДИНА ИДЕТ

Были годы: доблесть боевая
На фронтах к победам нас вела.
Все преграды преодолевая,
Мы творили славные дела.

Замолчал тяжелый гром орудий,
Веют миром трудовые дни.
В край родной с фронтов вернулись люди,
К трактору, к станку пришли они.

Словно знамя, доблесть трудовая
К творческим победам их ведет.
Все преграды преодолевая,
К коммунизму Родина идет.

Молотки стучат над пепелищем,
Высится гигант—подъемный кран.
Здесь стоять заводу, там—жилищам,
Как наметил пятилетний план,—

Как наметил план, что создал Сталин.
План великих, богатырских дел,
Чтобы жизнь вставала из развалин,
Чтобы край советский хорошел.

Полный силы, гордый победитель,
Славою увенчанный боец—
Нынче мира нового строитель,
Нынче мира нового творец.

Руки их могучи, взмахи — метки.
С чудесами схожи их труды.
Первый год великой пятилетки
Дал стране обильные плоды.

Новой шахтой, новой мощной домной
Мы родной обогащали край.
Там из пепла встал завод огромный,
Тут по рельсам побежал трамвай.

Поднялись, как в сказке, стены зданий,
Над водою выгнулись мосты.
Как ручьи, в цеху струятся ткани,
Наряжаясь в яркие цветы.

Правит жизнью возрожденья гений,
Глубоко, свободно дышит грудь,
И по вехам новых достижений
К коммунизму пролагает путь.

1947 г.

В. Полторацкий.

ЦВЕТИ, НАША РОДИНА-МАТЬ!

Лети, наше слово привета,
Пусть с ним молодеет земля,
Спокойным рубиновым светом
Сияют нам звезды Кремля.
Навеки сметены преграды,
Просторов глазам не обнять,
На славу, на мир и на радость
Цвети, наша Родина-мать.

В могуществе наших заводов,
В красе молодых городов —
Великая сила народа,
Плоды его славных трудов.
Идет он, хозяин веселый,
Легко и привольно дышать.
Ликуют колхозные села,
Цвети, наша Родина-мать.

Надежней и крепче союза
Нигде на земле не найдешь,
Открыты нам школы и вузы—
К науке идет молодежь.
Победы советского строя
У нас никому не отнять.
Мы жизнь обновляем и строим, —
Цвети, наша Родина-мать.

Открыты нам светлые дали,
Мы вольное счастье творим.
Ведет нас любимый наш Сталин

По славным дорогам своим.
Он всех обездоленных поднял,
Он нас научил побеждать.
И громче поем мы сегодня:
Цвети, наша Родина-мать!

СОДЕРЖАНИЕ

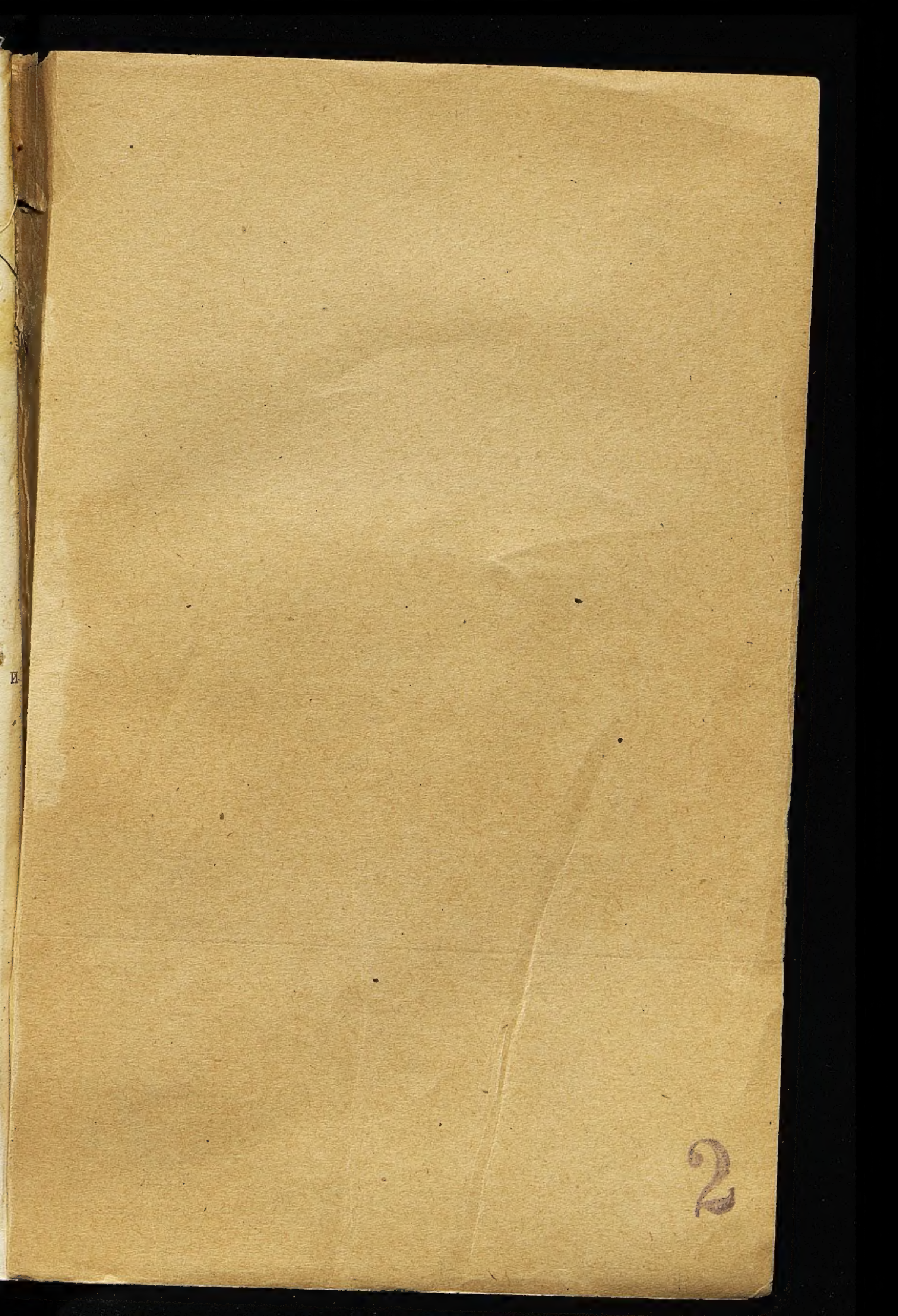
4

B

Редактор *Т. Н. Лешуков.*
Художник *И. Т. Колочков.*

Подп. к печ. 20/X 1947 г. КЕ—01965. Печ. л. 19. Уч.-изд. л. 17,6.
В печ. л. 34 400 тип. зн. Тираж 10 000 экз. Цена 11 руб.

Типография издательства Ивановского областного Совета депутатов трудящихся, г. Иваново, Типографская, 4. Заказ № 5753.


2